

*Памяти моего отца
Николая Владимировича Димчевского
посвящается...*



Николай Димчевский

Николай Димчевский

Осенние карусели

Стихи

Санкт-Петербург
2020

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6
Д 67

Николай Димчевский

Д 67 Осенние карусели (стихи). – СПб.: Фонд имени
Н. В. Димчевского, 2020. – 262 с.

Сборник стихов Николая Димчевского «Осенние карусели» состоит из 12 циклов: начиная с политических перемен в 90-х годах XX века – цикл «На сломе времён» – и заканчивая «Домашними дифирамбами», а между ними – «Влюблённость», «Действо детства», «Вся жизнь», «Лики и личины», «Из канцелярской лирики» и даже «Ресторанный мотив» и «Шутовской колпак». Автор как пристальный наблюдатель рассуждает о жизни, об отношениях между людьми, о буйстве природы – обо всём, что беспокоит, удивляет или радует его.

Николай Димчевский

Осенние карусели

стихи

Художественное оформление *Нина Рассадина*

Корректор *Татьяна Зорина*

Фонд имени Н. В. Димчевского

Формат 70х100/32. Гарнитура Times New Roman.

Бумага офсетная. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии Супервэйв Групп

ISBN 978-5-94437-529-2

© Бабаева Е. Н., 2020

От редакции

За благо – всем благодаренье.
Поклон заре за озаренье.
волну привечу за волненье,
и мир за умиротворенье,
стихию за стихотворенье,
и белый свет за просветленье...

Откровенные строчки из сборника «Осенние карусели» в очередной раз открывают мир искусного и самобытного русского человека – Николая Владимировича Димчевского (1926–2002): литератор, прочувствовавший XX век с невероятной любовью, нежностью и скорбью. Лирический философ, для которого искренность и честность были самыми важными, а слова Человек, Гражданин, Отечество – самыми главными.

О его талантах, доброте и истинном патриотизме рассказывает его творчество, которое бережно сохраняет дочь Екатерина Бабаева. Цикл «Действо детства» почти весь соткан из счастливых наблюдений о её детстве. Она создала фонд имени Николая Димчевского, главная задача которого – поддержка молодых талантов в области литературы и искусства.

Н. В. Димчевский окончил философский факультет МГУ (1948). Автор 8 сборников стихов, 6 книг прозы и переводов с английского. Как перспективный поэт избран членом Союза писателей.

Всегда считал литературную деятельность основным делом своей жизни, при этом работал редактором на телевидении, литсотрудником в «Новом времени», в Совинформбюро, в журнале на польском языке

«Край рад», в газете «Советская Россия». Последние 25 лет – в книжном издательстве «Советская Россия», 15 лет из них – замом главного редактора.

Как журналист – много ездил по Северу России, по Сибири, Дальнему Востоку. Как путешественник – проводил сезоны с изыскателями на Ангаре и Енисее, кочевал с оленеводами Полярного Урала, прошёл на пограничном корабле от Владивостока до Чукотки. Он был воспитан своим временем, эпохой и старался запечатлеть все её особенности позитивно и правдиво.

Первые публикации стихов появятся в 1959 году – сразу в «Новом мире» у Александра Твардовского и «Литературной газете» у Владимира Солоухина и Булата Окуджавы. Первая книга стихов «Прорубь» выйдет только в 1968-м. Его стихи положительно оценивали известные поэты: В. Луговской, Е. Винокуров, Л. Мартынов и др. А друзья называли неразгаданным писателем XX века.

Николай Димчевский выбрал свой путь, предпочтя известность для избранных. Писал о том, что хорошо знал, как бы с натуры: на борту баржи, у костра изыскателей, в чуме оленеводов.

Вот как он признавался в год своего 60-летия («Шестьдесят мигов»):

Я знал всегда,
что радость – в миге,
а жизнь из мигов сплетена.

I. На сло́те времён



* * *

Последняя птица
на сломанной ветке
погибшего мира.
Всё хочет запеть и не может,
всё хочет взлететь, да не в силах...
О, если бы мир воскресить
лишь на миг, для блезира,
чтоб птица
над веткой, над миром, над смертью
пронзительно взмыла!

Если б мир воскресить на мгновенье
и миг растянуть,
чтобы гнёзда
последняя птица свила
и птенцов завела, и вскормила,
и тёплым птенцам доставала б горячие звёзды,
и вихри Вселенной,
как гусениц, тихим птенцам приносила.

У смерти в последнем мгновенье
таится живой промежутки,
в котором расправлены судьбы, разглажены лица,
он люб для души,
он для разума страшен и жуток.
В нём птица последняя вольно и смело гнездится.

* * *

Лежу на вихре
и на свисте
внизу вонзающихся в темень
и в миг пронзающих мне темя
неиссякающих машин.
Какая жуткая перина!
Стальные перья,
пух железный
да выхлоп гари —
испытанье
для тела, духа и души.

Мне тут предписано лечение
от злой болезни,
возбуждённой железным грохотом и свистом, —
недуга душных городов.
Покой и тишину назначив,
меня свалили на перину
из вихря, грохота и свиста,
разбитых,
взбитых,
взрытых,
вбитых
между домов и проводов.

* * *

Обмылки, окуски,
огрызки, огузки,
отсевки, обноски,
обрывки, обсоски –
всё ворохом, кучей... Свалили кулём.
– Ужо расхлебаем...
Потом разберём...

Какие просторы!
Какие проворы,
програби, прожоры, прожекты, проблуды...
Баланда, бурда,
а для избранных – блюда.
Меж хилых хибарок, худых халабуд –
хоромы,
халифы,
халтура и блуд.

В безденежной немощи
зреет мощь денег,
меж нищими рыщет
могучий мошенник.

В бесправье, в бессилье, где плевел и плач, –
всесильный бездельник, трепач и палач.

Чем больше обмылков, обносок, обсосок,
тем выше влиятельнейший недоносок.

Бормочет с презрением к нищей дешёвке
замусленных слов шелуху и оплёвки.
Сулит, суесловя в бесстыжем обмане,
всем – райскую жизнь с исполнением желаний.

И все мы, отринув душой пустозвона,
смысл жизни прогнали,
нагнав самогона.

КНЯЗЬ ТЬМЫ

Солдатский строй.
Сума с тюрьмой.
В полях – осот, в лугах – осока.

Обычай давний и больной –
годами ждать дурного срока,
когда от тюрем и сумы
да от военного устава
очередного Князя Тьмы
нам силы тёмные поставят.

Его нам снова величать
пустым и равнодушным вздором,
терпеть бездушную печать
под неизменным приговором.

И снова
засевать осот,
жать чернобыльник да крапиву...
Чтоб Князю Тьмы
с Его высот
всегда гляделось горделиво.

Чтоб тьма густела,
чтобы мы
с привычною фальшивой страстью
о тьме просили
Князя Тьмы,
о беспросветности всевластья,

чтоб силы тёмные всегда
властительно владели нами,
и неизменная
беда
вилась над всеми головами.

СМЕРТЬ МАСТОДОНТА

Издыхал мастодонт,
раздирался на части под собственным весом.
Ключья шкуры сползали,
и жилы в суставах рвались...
И смыкалось бессилье над ним,
как завеса,
меж чудовищным прошлым
и меж настоящим,
огрузшим, как грязь,
и дрожащим, как слизь.

Подыхал мастодонт,
и над телом беспомощным дико и грозно
бивни дыбились в небо,
и в землю врезались —
четыре столба костяных...
Бивни, шкура и хобот гиганта
отныне соседствуют розно.
Нет в них мощи,
лишь злое коварство запряталось в них.

И свободный охотник
опаску пред мёртвым притушит,
прибредёт, чтобы шкуры кусок присмотреть...
И осядет, навалится мёртвая туша,
самой смертью своею
продолжит лишь смерть,
только смерть,
ничего, кроме смерти,
одну неизбежную смерть.

* * *

Бреду в бреду,
по броду бреда
перебредая свой недуг,
тот предпоследний миг изведав,
когда под дых ударен дух.

Когда, казалось, не осталось
зацепок в жизни никаких,
суметь к себе глухую жалость
преодолеть в последний миг.

Сменив смятение на смирение,
боль понимаю, как юдоль,
и успеваю до Успения
познать всей жизни суть и соль.

В нашей проклятой Богом стране,
среди разграбленных, рваных просторов
удалось одному сатане
показать свой безжалостный нор...ов...

То в бородке,
то в жирных усах,
то совсем без волос, как яичко,
он наводит неистовый страх –
стала смерть
повседневной привычкой.

Вместе всех, как один, умирать
приготовил он с мига рожденья.
Вместе всех, кто не с ним, проклинять,
а хвалить лишь его изречения.

Здесь в могилу кладут,
как в постель,
заболевших жестокою жизнью.
Этот отдых –
заветная цель
приневоленных к коллективизму.

* * *

Не наследных наделов насельники,
не провидцы в проклятом ненастье –
победят
дураки и бездельники,
одержимые бесами власти.

Ведь уходят фантасты философы,
не пожав, а едва лишь посеяв...
И за ними –
народец отбросовый
горлохватов, хапуг, фарисеев.

Приспособят к себе, как по выкройке,
многотомье любых идеалов...
Власть – что койка,
заняв её, вы к койке,
прохиндейке идей – одеяло.

Постелите (вы стали в том доками)
себе мягко, а прочим пусть жёстко,
и затем уж
словами высокими
оправдайте обман и обжорство.

Шейте к пышным перинам наперники,
нежьте в пухе филейные части –
всё для вас,
дураки и бездельники,
одержимые бесами власти!

СЫЧ

Хоть пей, хоть пой, хоть плачь иль хнычь —
всегда вдвоём с твоей бедою,
бездушный полумёртвый сич
подглядывает за тобою.

Он око блёклое косит,
он ухо скрытное наводит.
Не добр, не зол, всегда сердит.
И рода среднего он вроде...

Ты добр и зол, и мыслью прав,
с начала дней твой род всем явен.
И потому, права поправ,
тебя
он хочет видеть в яме.

Он всех желает усреднить,
учесть, урезать, урезонить,
через сердца продёрнуть нить,
чтоб нити все соединить
в одной большой и общей зоне.

Чтоб не мешали размешать
живую с мёртвою водою,
и полумёртвых размещать
с кипящей порослью живою.

Чтоб каждый сделался
никем,
неприспособлен, никудышен,
и полумёртвый сыч затем
сграбастал всё, чем в жизни дышим;
и полумёртвость вознеся
до всеохватного обличья,
переиначил всех и вся,
чтоб в кровь вошла повадка сычья.

КРУШЕНИЕ

Разъялись перержавевшие скрепы,
раздёрнулись все трещины и швы...
Чудовищный корабль
позорно и нелепо
без бурь
погиб от мысли и молвы.

Как слизь, осели броневые башни,
как грязь, облезла корка позолот.
В день нынешний
не втиснешь день вчерашний,
из прошлого подмога не придёт.

Вернулось всё на вечные устои –
изба, соха, кормилец-огород...
Броня и мощь, знамёна... – всё пустое,
других забот отныне полон рот.

На палубах посеяли картофель,
в машине – самогонный аппарат.
Пусть нынче в злобе обер-Мефистофель.
Народ житью-бытью давно не рад.

Ему знамёна хороши на тряпки.
А флаги для портянок хороши.
Он спутник перетяпает на тяпки,
сварганит из скафандров шалаши.

Под пышной трескотнёю о прогрессе
так холодно и голодно жилось.
Давно пришла пора понять всем вместе,
что не «прогрёсс» нам нужен, а «овёс».

* * *

Кизи мертвы.
Не теплится лампада.
Колокола ко всеиошней не созывают люд.

Так умирает прошлое.
Не надо
обманывать себя,
и говорить, что вечно
старинные творения живут.

Есть череп,
нет глагола
и нет плоти,
нет уст и рук, вдохнувших дух в дресву.

По черепу вы облик обретёте,
но разве маска
ровня естеству?
Её, и восхищаясь, не полюбят
и жизнь
за жизнь её не отдадут.

Строения живут, покуда люди
в них плотию и помыслом живут.

Все гульбища и торжища, и страсти,
молебствия и крестные ходы,
и срамота грехов,

и чистота причастий
прошли, как воды, по лицу воды.
Осталось
что в страстях нерастворимо,
что было только отсветом страстей,
что над костром судеб вставало дымом,
а судьбы догорали до углей.

И тех судеб не стало.
Их с корнями
повыжгло время по онежским островам.
И только храмы
серыми дымами
ещё встают
вдали
то здесь,
то там.

САМИ

Шаг завершён, и выбор совершён.
Измерен путь по непотребной мерке.
Торчит оглобля в колесе времён.
Глагол веков стирается и меркнет.

В годинах безысходности
душа
находит лишь коварство и кручину
и, вечный круг бессмертья заверша,
устало ждёт
унылую кончину.

Давно слова людские сведены
к двум-трем реченьям гнусного похабства,
и сделалась приспешьем сатаны
былых церквей былая паства.

Уродливая скудость бытия
изблёвывает мерзость и уродство.
Разбиты лица —
вместо «ты» и «я»
есть «мы»,
забывшие свой край и век, и род свой.

Убого ищем, кто виновник бед
среди народов, бедствующих с нами...
Но нет злодеев и виновных нет,
коль их вскормили и взрастили сами!

Скудеет взяток с пашен и лесов,
и впереди –
проруха или прорубь...

Мы сами
сунули оглоблю в колесо,
и сами
душу обrekli на погубь.

* * *

Лист последний
последней осени,
как душа последняя, смят,
и погибших деревьев укосины
обозначили ворота в ад.

День последний
и слово последнее
пред началом последних мук.
Это колокол гибели,
медь его
говорит языком разлук.

Попрощайтесь,
коль хватит усилия
взмахнуть на прощанье рукой.

Пред воротами ада,
Кто?
Ты иль я?
Первым
примет
вечный покой?

II. Годичные кольца



* * *

Ледяная планета
повисла меж чёрных ветвей,
в полутьме засветилась,
качнулась, когда налетел снеговой.

И потом,
соскочив со своих поднебесных дорог,
о землю разбилась,
и хрустнул мороженный сок.

Не заметил никто
столкновенья двух сфер, двух миров,
не заметил и яблока,
с ветки, упавшего в ров.

И в небе теперь
меж корявых суков
натыкается взгляд
лишь на мёртвые звёзды,
что свет безглагольный лучат.

* * *

Если холод и хмурь,
и железо на крышах бренчит,
и в мирской бесприютности
некуда ткнуться и деться,
я крадусь по тропинкам годов
и оказываюсь на печи
в доме деда,
где скрытно
живет моё детство.

Разрывая тенёты времён,
возвращая прошедшие дни,
так прекрасно и вольно
плывёшь по минувшим стремнинам!
Если прошлое в помощь,
то прошлое смело тяни,
и вбирай, и впивай,
и любуйся созданием невинным.

Загляни под закрайку грядущей зари,
если мутно в душе,
если сердце гнетёт и мурыжит,
на ещё неприметных лучах воспари –
ведь и в будущем
прошлое ждёт,
чтоб помочь тебе выжить.

СКИТ

Жить в скиту...
На неделю за лето
стать пустынником-анакоретом,
вдвинуть жизнь свою
в недра дождей,
тихих трав
и дерёв –
из минувших веков пилигримов,
чтоб увидеть, как звезды кружат,
блики солнца дрожат
и как Время вихрится,
и вихри проносятся мимо.

Соглядатай судьбы,
посторонний свидетель событий,
углядишь через стёкла зари,
через трубы стволов, через щели травы,
что же с нами свершилось,
как жить и как быти.

Скит заполнить, как ларь,
самородками прошлого,
зернью забытого, брусом былого,
и потом запереть навсегда
в этот миг обретённым
единственным
Словом.

* * *

Очень уж река синя,
небо слишком уж высоко.
Этот мир не для меня,
хоть он был моим до срока.

Погружаюсь в микрокосм,
блёклый, будничный и бренный –
лучше места не нашлось
в необъятности вселенной.

О ГРОЗЕ

Гроза ворочалась на каменном одре.
Был полдень, был июль,
был обух,
был, как плеть, я.
Не скажут обо мне:
погиб «аки обре»...
Ведь в смерти, как «обре»,
не обрету бессмертья.

Гроза ползла по каменным горбам
домов и крыш
и громоздила горы.
Отдам я плоть и кровь,
но душу не отдам.
Опора лишь в душе,
хоть зыбки все опоры.

Гроза грозила молнией
и гром
таила в тучах, в глубине и сыри.
Коль заперта душа в глухой и тёмный дом –
немудрено забыть о беспредельном мире.

Забыл его.
Но, крышу разорвав,
мир сам ворвался с громом и трезвонцем –
чтоб я сумел,
нелепый, как жираф,
пролезть в дыру
и вновь
увидеть солнце.

* * *

Пора к наплывам рек,
пора к намывам плёсов,
где в солнечной игре,
весенние колёса.

В них спицы из лучей,
и вязнет по ступицу,
вся в окриках грачей,
шальная колесница.

На радугу садись,
держись за ветки ивы –
пусть плещутся сады
и листья льют в заливы,

и ширятся глаза,
и губы ищут хмеля,
и движется гроза,
и ветер тучи мелет.

Беспомощные
хрупкие деревья,
избитые метелью,
и согбенно,
униженно стоящие
обочь дорог,
по склонам у реки!

Невидимо
мы связаны
старинной долгой вервью,
и даже незнакомые,
мы узнаем друг друга
по облику,
по голосу,
по взмаху
нашей медленной
и трепетной руки.

Мы родственны
по краткости весеннего цветения,
по мигу звонкой радости,
плывущей от корней,
по памяти слоистой,
уходящей в глубь растения
и берегущей проблески,
и стерегущей синеву
давно отцветших дней.

Так просто
снять нам голову,
сорвать с нас
листяной и пропачканный покров
и сделать одинаковость
столба бездумно-голового
под хохот
топоров!

В метель,
в порубку,
в полымя —
мы вместе.
Мы ломаемся
безмолвно
и без плача, и без поздних укоризн.

Мы к мести не взываем:
нашей мезтью
пребудет
новых листьев,
новых веток
неистребимо жаждущая жизнь!

* * *

Найди мне что-нибудь другое,
воспоминаньями не мучь.

Не нужны
утро,
хрупкость хвои
и синий снег,
и ломкий луч...

Не повторяй
неповторимость,
оставь ушедшее со мной –
когда
не словом говорилось,
а солнцем,
снегом,
и весной.

* * *

Платформа. Ночь.
У жухлых фонарей
метель продёргивает лохмы снега косо.
Ждут поезда,
и всем, кто ждёт, – теплей
и легче в зябкой западне заносов.

А поезда не будет.
Он увяз в трясине снежной завали и пыли.
Но люди ждут
и в безнадежный час
надежду пьют из призрачной бутылки.

ПЯТЬ КАПЕЛЬ

Весна скребётся каплями в стекло —
пять коготков, как на кошачьей лапке.
Пять капель
с ветки по стеклу стекло;
и мокрый кот
бежит по мокрой лавке.

Ещё сугробы,
а проплешин вязь
едва намечена в полях заледенелых.
И всё ж
душа
надеяться взялась,
что у весны — без проигрыша дело.

* * *

Когда свалили порыжелые заборы,
когда щербатый камень разобрали,
отгородивший двор от переулка,
что там открылось,
что за ними было,
что много лет скрывалось и таилось?

Дородный дуб и тополь, и кустарник,
трава и одуванчики –
и всё,
не боле, чем деревья и цветки.

Зачем же было городить заборы
и каменную стену возводить?..

ЧЬИ-ТО ШАГИ...

Слышу чьи-то шаги
в тихой чаще осенней остывшей.
Кто-то медленно шествует
мимо стволов и кустов...
Неторопливо по горке
шаркают чьи-то опорки...
Кто это там?
Оглянулся
и вижу:
лист за листом опускаются с дуба.

* * *

Как долго не мог я поверить
в суть истины самой простой –
что сходны
деревья и звери
единой свободной красой.

Сживаются в рощах и чащах,
где бытность грозна и тиха,
в семейство, единство хранящих,
орешник,
олень
и ольха.

* * *

В зелёных комнатах торжественного парка
сiju и жду, откинувшись к стволу,
пока моя медлительная Парка
закончит прясть
и вденет нить в иглу.

И пальцы в пальцы взяв, начнёт устало
по призрачной канве прожитых мною лет
картину вышивать
с конца и до начала –
от мига «уже нет» до мига «ещё нет».

Кто б ни был после –
те ли, иль те,
картину не тащите на правёж!
Её в зелёных комнатах пришпильте
к живым обоям, где листва и дождь.

* * *

До четверга февраль продлится,
а с пятницы начнётся день,
когда замельтешатся птицы
и снег на крыше накренится
облезлой шапкой набекрень.

И в каждом знаке зодиака,
в любой лозе, в любой стезе —
стихов стихия Пастернака
блеснёт слезой на бирюзе.

И не могу Его отринуть,
и не противлюсь плену книг,
вбирая сердцем сердцевину
Его миров, расцветших в них.

* * *

Снежинки перестали быть снежинками,
ведь снег приносит страхи, а не стужу.
Кривляется и кружится с ужимками
белёсый
с неба сыплющийся ужас.

Не выходите в снегопад,
не выпускайте близких —
снежинки тело рвут колючими лучами,
снежинки губят кровь,
они, как василиски,
больных и мёртвых
жаждут днями и ночами.

На мостовых и на полях,
над сучьями раздетыми
снег не для лыж, не для детей, не для влюблённых.
Снежинки быют из-за угла кастетами,
снег —
отсвет от политики,
от трусости и алчности учёных.

Мир нынче проклят и лежит измучен,
не в силах снять с груди давящий камень.
Метут снега, отравленные в туче
учёными убийцами,
стяжателями
и временщиками.

КОЛОКОЛ

На сломе, на срыве, на сколе скалы
на обрыве,
где шторм с океана
туман тащит волоком —
изъеденный солью и снегом,
избитый ветрами и временем
колокол!

Срывается голос его с крутизны
и летит по камням до прибоя,
и скачет с волны на волну,
как спасательный буй,
среди грохота ветра и воя.

Рот отверстый
с могучим стальным языком,
глотки медной мучительный выкрик —
встречь крутой непогоде,
встречь бедствию,
через судьбу,
сквозь стенанья и стены,
волненья и вихри!

Вопиет он,
не зная к кому,
в пустоту, в темноту,
в разъярённую бездну.

И скитальцы
прорвутся по прорве морской,
на отверзнутый рот его
уши и души отверзнув!

* * *

Мелькнула жизнь в годах и днях
по городам и в дальних пожнях;
и впромельк мимо, сквозь меня,
вихры и лохмы трав тревожных.

По склону – к тихим облакам,
по выгибу дуги овражьи,
вослед кочевьям и векам,
трав метнулась пряной пряжей.

О, почему средь лиц и глаз,
и слёз, что на ветру не сохнут,
такая малость прижилась –
вот эти травяные лохмы?..

КОЛОКОЛ СВЯТО-ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

В перетряске
глухих завываний,
железных стенаний
и скрежетов дальних,
в раздёрганном крике шумов
нежданно и странно встаёт
незримым столпом
голос колокола.

Единственный в вихре суетных
бессмысленных звуков,
протянутый к сердцу
и к небу глагол.

О глас, воспаривший
над тяжестью тягот,
над гнётом гнетущего горя,
над бездной мучений земных!

Чем колокол гулкий тяжеле,
тем легче и шире невидимый столп,
так дивно сердца возносящий
с земли до пределов иных...

ТИШИНА

Есть ещё кладовые и склады,
где до облачных потолков
с тишиною тюки-громады
громоздятся испокон веков.

Есть ещё дорогие души,
где от выси до самых глубин
можно тишь эту сердцем слушать
от рождения до седин.

ТЬМА

Вот сяду и стану
смотреть снегопад,
как стаи снежинок с небес полетят,
как сразу стемнеет,
и станет как тьма
тех белых снежинок несметная тьма.

КОГДА ВПРАВЕ...

Ну, вот теперь
ты тоже вправе
деревьев скипетр в руку взять,
державу в солнечной оправе
и Соломонову печать.

День пред тобою непочатый,
он время отряхнул с ветвей.
Его
печатью опечатай,
его
в душе запечатлей.

ПЕРВОЦВЕТ

Они ещё цветут...
Земли почти не стало:
щебёнка да излом бетонных плит.
И всё ж
они цветут,
горят, как в поддувале,
где уголь догорающий горит.
Пропарывают плотью беззащитной,
пробуривают робостью ростка,
и выставляют свой наивный щит
на тех рубежах,
что заняла
тоска.

Апрельский первоцвет!
О золото завалов,
отвалов и бездушных пустырей,
гори и не сгорай,
гореньем небывалым
бетон и бессердечность одолей!

СЕВЕРНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Всё лыком шито,
наспех сбито,
всё без колодки – скандачка.
Тут рак клешней,
а конь копытом
шалай-валяй посёлок строил,
бараки бил нашермачка!

По жухлым крышам дождик косит.
Углы, заборы – так и смяк
и наискось по перекосам,
да против шерсти, против ворсу
раскосый ветер
хлещет косо
и ставит всё вперекосяк.

И кувырком летят от ветра
клубки из дыма и судеб.
Нет ни приветов, ни ответов...
За реками, за тундрой
где-то,
в порту,
где буря кренит краны,
твоя судьба и ветер
спьяну
по крышам скачут в чехарде.

Старик.
Измучен мукой мудрых,
морщины всей земли вобрал,
ступает средь студёной тундры
согбенный
Северный Урал.

Глубины Запечорья, Заполярья,
зияние заснеженных пучин...
И словно отзвук дудочки комарьей,
напев Души
в безмолвье различим.

Как уцелела
и прошла бездушье,
безвременье, безлюдье злобных дней,
когда
обрывком проволоки
души
свисали с чёрных брёвен лагерей!

Она осталась в вымерзшей пустыне,
где никогда никто не выживал.
...Её согрев,
бездомным старцем стынет
согбенный
Северный Урал.

* * *

Вечер с бреднем тумана бредёт
по лощине, пробрякшей водою —
дергачей наловил у болот
и прищучил в кустах козодоя.

Он добычу понёс на горбу,
запахнувшись в сырое веретёе,
и не видел, как чью-то судьбу
подцепил в свои старые сети.

* * *

Не лицемерит мерзлота ни в чём,
и тундра
никогда не лицемерит.
Что было – было.
Нынче нипочём
былого не прогнать от двери!

Секретов у земли полярной нет:
наружу,
наверх,
на поверхность
летом
выпластывает боль ушедших лет
сырым скелетом.

Пробит цветами.
Пальцы в кулаках.
Да, сжатость кулака в костях хранится!
Повинен он сильнее, чем в грехах,
в том, что невинен
и наивен,
и бессилен,
как пойманная птица.

Ни имени, ни года, ни числа,
лишь беспощадно солнечная тундра
и синева,
и птицы,

и чиста
прозрачность утра.
А рядом те,
кого он знал,
и те,
кого он не узнает и не встретит,
раскинулись в последней наготе –
им нечего скрывать
ни от кого на свете.

А ниже,
за болотом,
за холмом –
там трудный город
бурями ободран.
В каком из черепов,
каким умом
он выношен
и нам в наследство отдан?

О, откровенья северных краёв,
О, кладбища безвестные в мерзлотах!
Здесь не осталось
ни имён,
ни слов,
здесь Правды нагота
лежит в болотах...

* * *

Был Урал
не Северный даже,
а Полярный,
поезд был —
встал на полустанке среди тундры.
И меж этой широты
сидеть в вагонной духоте угарной
просто непосильно,
а не просто трудно.

Неподалеку — дощатая палатка.
Оказалось, как ни странно, пиво
и, конечно, водка.
Взяли то и сё,
(но чтоб не валко и не шатко),
на пригорок отошли
и выпили за ясную погоду.

Там сдувало комаров,
и, повалившись на багульник,
мы глядели, как простор
грызёт хребет Урала.
И так празднично нам было,
так привольно и разгульно,
что душа сама
протяжно песню закричала.

И только старый инженер
петь с нами не заладил,
уселся в стороне
и понурился к осоке.

И Урал уходил парусом по глади
в годы, в тундру, в океан,
незнакомый и глубокий.

СТРАСТИ СТРАНСТВИЙ

И двигатели грянули в тамтам!
Их гул на эхо дальнее помножен,
как будто бьют ладонью по горам,
обтянутым тугой и звонкой кожей.

И сердце пробудилось, и глаза
опять хотят нетронутых просторов.
И снова страсти странствий развязал
томившийся по воле вольный нор.

Как зябнет без движения душа,
как ёжится в глухом плену покоя.
Возможно ли, судьбы не вороша,
наполнить жизнью бытие пустое?

Найдут ли пальцы глину и металл,
вдохнут ли ноздри свежий дух вселенной?
Кто дни страстям под ноги не метал,
с ног не стряхнёт ни тленности, ни тлена.

Шипит вода в крутых развалах волн,
и круто крутит крутобокий ветер;
И тает пирса вымокший бетон,
и тянет дождь свои косые плети.

Душа глотает время, как баклан,
мешает ночи с днём и солнце с тенью...
А двигатели бьют в большой тамтам —
зовут к тревоге и к ненасыщенью.

* * *

Разверзлись дали –
тянут, словно пропасть.
Пропасть в них,
броситься проломом через чашу,
вонзиться лёгкой лодкой, чтобы лопасть
весла
ловила взгляд их, долгий и манящий.

Как не было туманов и томленья.
Уста простора празднично отверсты.
В огне прозрачном плаваются поленья –
конец костру, начало взяли вёрсты.

Теперь пусть будет солнечно и звёздно.
Кто лад нашёл, тому не сбиться с лада.
И дали
разверзаются, как бездна,
в которую всю жизнь привольно падать.

СИБИРЬ НЕ ПРИНИМАЕТ

Сибирь не принимает.
Вся Сибирь на сутки закрывается.
Туманы,
снега, пурга
задёрнули её
от осыпей Урала
до витимских таёжных круч.
И все, кто собирался улететь
в её простор,
наполнили до крыши
огромный аэровокзал.
Их столько, что стеклянный этот айсберг
туманится от влажного дыханья,
от дыма сигарет
и от сырых пелёнок.
И что-то чудится от чума,
от яранги,
от старых изб
и от палаток
на берегу раскидистой реки.
Как будто бы пришли переселенцы,
и всё ещё не ясно, не обжито,
всё временно, и только ещё будет
то,
для чего идут в далёкий край.
Пьют бурую бурду с названьем «кофе».
Жуют третьегодняшние котлеты.
А там, на красном низеньком диване
в бумажные стаканы разливают

сухое красное – бутылка на троих.
Без денег (все спустили в тёплых землях)
Без мужа (он на прииске далёком).
Без жён (они остались доживать
с детьми у бабушки под Тулой и Рязанью).
Без времени (дорога велика,
а отпуск кончился впритык к отлёту,
задержанному чёртовой погодой).
Так и живут, гуртуясь возле стоек,
спят, в кресла неудобные осев,
вбивают домино в бок чемодана,
в тяжёлом сне, перележав бока.
И всё это – потерянное время,
пустые сутки, брошенные зря
по прихоти, по женскому капризу
Сибири,
которая не принимает
и не желает принимать.
Закрылась
в туманы и пургу,
в снега и ветры
и сразу оказалась
пространным миром, замкнутым в себе.
И люди ждут покорно,
когда Сибирь откроется,
когда изволит принять их...

МИР ОСЕННИЙ

Прозрачен, пуст и тих осенний мир.
Сойдя в него,
первоначально
встречаешь пустоту и тишину.

И только позже,
присмотревшись, прислушавшись,
вдруг замечаешь:
там, на холме расположилось стадо,
и несколько коров бредут вразброд.

И матерное слово пастуха,
вослед им пущенное без стеснения,
за три версты так ясно слышно,
как будто бы оно обращено
не к тёлке непослушной,
а к тебе и ко всему живому на земле.

В глубокой первозданной тишине
оно звучит почти, как Слово Божье,
произнесённое пред сотвореньем мира.
И непотребством, заключённым в нём,
пастух всесветно о себе вещает,
как об Отце телушки,
о Творце всего, что суще тут, в осеннем мире...

И Слово здесь не кажется похабным,
оно растормошило тишину
и разразилось творческим глаголом.

А вслед за ним явился сам пастух.
На фоне облаков
он шёл по взгорью –
кнут на плече,
котомка с хлебом-солью,
нимб солнца над измятою фуражкой
и выпуклость земли под сапогом.

Он шёл вослед коровам,
среди берёз,
по ельнику,
по лугу,
по низине...

И в мир пустой вселялось Бытие.

Леса – пристанище деревьев,
пожухлое жильё осин.
Пришли, усталые, с кочевья,
стоят, не разгибая спин.

И кособоко, и неловко
ждут по полгода напролёт,
когда сварливая золовка
погреться к солнцу позовёт.

Тогда они разуют лапти,
онучи бросят под порог:

«Таперича не грех поспать бы,
поколе, отдых подал Бог».

Да, видно, по такой погоде
и дома им не до спанья –
ждут грядки в скудном огороде,
и тянет тощая семья.

И не присев, не отдохнувши,
золовке, не сказав двух слов,
их непоседливые души
опять бредут среди холмов.

СПОЛОХИ

Грозу свалило к долине,
в облаках завязалась звезда,
но синё от сполохов синих —
синим пламенем горит вода.

Фиолетовый огонь стекает с веток,
в лужах светится холодная ртуть.
Ночь, встревоженная
сполохом, раздета,
обнажённая не может уснуть.

В каплях прячутся тревожные искры,
как в спирту сгорают сады.
Всё дрожит от сполохов быстрых
блеском льда и мерцаньем слюды.

Молний нет, и огонь не жжётся.
Тише тишь, тьмы крепчает креп,
и стекает на дно колодцев
рванный свет отгоревших судеб.

Приишимье завернулось в индевелый лён берёз.
Прииртышье запахнулось в снеговой тулуп метели.
Серебром берут сегодня на реке за перевоз –
по целковому с копыта
заработать кто-то целит.

Там,
на льду,
у тальниковых заржавелых хворостин
перья лебедя рассыпала приточная речушка.
Надери с полей
суровых, солнцем белёных холстин –
выйдет простынь,
и получится подушка.

Заплачу за перевозки все полтины и рубли.
Я приеду – гол как сокол,
без полушки и без гроша.
Ты мне тёплую постель у Приишимья постели,
рано утром проводи до Прииртышья по пороше.

* * *

Снег, придавленный лыжей,
визжит по-собачьи.

У собаки на морде свалывшийся иней.

Так мороз всё запутал и переиначил,
чтобы я не прошёл
в незнакомой долине.

Побелёсела высь,
а снега посинели.

Посветлели глаза,
потемнела душа...

Неужели земля доживёт до апреля,
этим неколебимым морозом дыша?

ТЕПЛОТА ВЧЕРАШНЯЯ

На пашне – яблонь лепестки,
на перевозданных комьях – чудо.
Прощальный взмах твоей руки –
весны последняя причуда.

Всё возвращается к земле,
к её пластам животворящим.
От давних вёсен разомлев,
мы лепестки по пашне тащим.

Отставший от костра огонь
отходит к теплоте вчерашней.
И вот уже твоя ладонь –
как лепесток – за свежей пашней.

* * *

Жгут листья.
Пряный пьяный дым
течёт, как мёд, между стволами.
Вхожу в осенние сады
сквозь дым и мёд,
сквозь мёд и пламя.

Кострами тихими до дна,
до искры вычерпано лето.
Мне осень дымная дана.
Душа, как яблоня, раздета.

Но сладость мёда есть,
да, есть
в дыму сырых и жухлых листьев.
И благо,
что в душе не жёсть,
а тёплый дым, плывущий в выси.

ОСЕННИЕ КАРУСЕЛИ

Кар! Кар! Карусели.
В них вороны, – кар! – и сели,

сели сонные сычи,
сели чёрные грачи,
сойки, совы, свиристели
угнездились в карусели.

Все ли сели в карусели?
В карусели сели все ли?

Сели птицы, птицы сели!
Ну, кружитесь, карусели!

Тут синички-гаечки
подкрутили гаечки.

Речной сверчок
закрывл крючок.

Появился ворон,
запустил мотор он.

Карусели закрипели,
карусели полетели
через сосны, через ели,
через зимние метели.

Ну, а если не успели
сесть на птичьи карусели?
Не успели?
Не успели!
Значит, сядете в апреле.

* * *

Море – труженик вечный,
и волны его – это мышцы
в бесконечной работе.
Инструменты: вода
и зелёная соль,
и тяжёлые брызги на взлёте.

В скалах грохот,
удар догоняет удар,
словно клинья вбиваются в тишь плоскогорья;
глыбы воздуха рушатся,
шквал, как обвал, –
это трудится море.

Перемалывать камни в мучнистый песок,
ткать медуз из прозрачного шёлка без счёта,
рыб вытачивать из серебра и слюды –
труд рабочего и ювелира работа.

А легко ли,
веками таскать на плечах
корабли
и держать якоря, когда бешенство душит!
Море злится,
и криком наполнен эфир,
и отвага выходит спасать чьи-то души.

Но опомнившись, снова за вечный свой труд:
за палитру и кисть
и за молот гиганта.
Снова скалы ломает,
растит облака
и гранит бриллианты.

О маленькое чудо осени –
комочек звона тонкого и перьев.
С каких планет
в осенний мир заброшены
наивность
и беспечность,
и доверье.

Чуть слышно,
еле видно.
В неприметности
есть странная и медленная сила –
она тихонько разрушает крепости,
но не находит у людей мерила.

Бесцельна и бездумна,
и бессмысленна
бескрайность мира
поместилась в птахе.
И сердцу хорошо,
узнав, где истина,
тревожно ёкнуть, сжавшись под рубахой.

III. *Личины и лики*



Лицо за решёткой тяжёлых морщин –
год на год,
крест на крест,
замок на замок.
И старость
с тобою один на один.
И ты в одиночке устало замолк.

Остались на воле друзья и враги.
Там прошлые ветры и прошлые дни.
И кружат ещё по озёрам круги
от прошлых камней, что заброшены в них.

Там прошлые губы и прошлая плоть,
и прошлые птицы на прошлых суках,
и зёрна,
которые надо смолоть,
и руки,
которые будут в руках.

А тут – нет грядущего.
Время стоит.
Грядущее в прошлом осталось навек.

И кто-то другой у пушистых раки
со смехом бежит по весенней траве.

* * *

Мир старых фотографий молод,
он к выцветшей стене приколот.

В овальных рамках и в прямых —
созвездье франтов и франтих:

лебяжья шея рядом с фраком,
перо склонилось к шапокляку.

Все молоды и все в расцвете,
и были ж все на этом свете...

Мир старых фотографий молод,
он холод пережил и голод,

он здесь, он рядом — бок о бок,
и, как созвездия, далёк.

Из всех светил его (о жалость!)
старушка блёклая осталась —

как в телескоп, глядит в лорнет
на сонм исчезнувших планет.

УСПЕХ

Он выиграл,
сорвал все куши,
он всех и вся переиграл.
Теперь его гордыня душит
и ввысь возносит пьедестал.

Он распираем самомнением,
самозначеньем упоён;
и каждодневное кажденье
как должное
приемлет он.

Твердит в десятый раз и в сотый
всё о себе
для вся и всех,
с одной единственной заботой
расширить собственный успех,
раздуть, раздвинуть, растрезвонить,
по всем базарам развезя...

Успех его подобен вони:
тошнит, а не дышать нельзя.

СКРОМНИЦА

Заботою исколота –
укол на каждый шаг –
достаточно ли золота
на пальцах и в ушах?
Ещё цепочку надо бы,
и – счастья гарант –
для полного парада бы –
приличный бриллиант...
Надеждой сердце полнится,
хоть планы не просты.

Ах, девушка, ах, скромница!
О, девичьи мечты...

ЛИЦЕДЕЙ

Вертясь у зеркала,
не избежал искуса –
бородку подчесав и так, и сяк,
своё лицо
под облик Иисуса
подладил он
и не попал впросак:
и волосы до плеч,
и синь подглазий
(намёк на глубину сердечных ран)...

На «вечерю» собрался –
попроказать
с девицами в соседний ресторан.

ОЧЕВИДЦЫ ПОНАСЛЫШКЕ

Вот странники,
что странствуют, не двигаясь,
страдая ожирением и одышкой.
Власть века,
или просто мига власть
их превратила
в очевидцев понаслышке?

Едва из кресел в кресла
сдвинут чресла –
уже Нью-Йорк, Мадрас или Париж.
Всё видели, всех знают...
Ну, а честно –
чего из мягких кресел углядишь?

О простота перемещений дальних!
Стираются детали,
всё общо.
Любительские снимки сцен банальных,
банкетов,
банков,
трестов
и трущоб...

Аэропорт. Авто. Асфальта твердь.
Отеля герб на чемоданной крышке.
Садятся очевидеть, лицезреть
туристы –
очевидцы понаслышке.

Делёж наследства в доме престарелых.
Былая слава —
грудой золотых.

Для них она ещё не отгремела,
хотя давным-давно ушла от них.

И призрачные мёртвые монеты
они хватают хлипкою рукой.
И отсветом погасшего рассвета
мерцает их упрямый непокой.

Забытые,
былого не забыли,
свой пыл не отпустили на распыл.
Легенды
им — как будничные были.
Что из того,
что мир
о них забыл!

Они сегодня — в дне своём вчерашнем.
Им дела до сегодняшнего нет.
От прошлого
им радостно и страшно.
Как гром —
безмолвье призрачных монет.

Рвут друг у друга,
прячут по карманам
иль пробуют, вставной подставив зуб...

И словно тени на немом экране,
себя в карете прошлого везут.

* * *

Что нужно для рожденья красоты?
Обсосок фиолетовой помады,
осколок зеркала,
сгустившаяся тушь —
и больше ничего не надо.

Мерцают губы, светятся глаза
и на щеках напудренная свежесть...
И эта яркость, острая как боль,
вонзается в глаза и сердце режет.

ИЗВЕСТНОСТЬ

На виду у ста миллионов,
привычно глядя в глаз телекамеры,
демонстрировать свою скромность.
Сказать в микрофон
с простотой и сердечностью
несколько тщательно выученных фраз.
Очаровать зрителей улыбкой,
отрепетированной перед зеркалом.
Истово облобызаться со знаменитостью
(если представится случай)
и тем показать,
что ты – не меньшая знаменитость.

Экстравагантно или подчёркнуто просто одетым
пройтись по улице,
устремив глаза в никуда,
но, зная, что на тебя направлены взоры всех.

Появившись в кругу незнакомых знакомцев
показать, что ты примерный – муж или любящая жена.

Заранее зная, что все заметят,
погладить ребёнка,
поклониться в ответ на поклон швейцара,
подарить стюардессе преподнесённые тебе цветы.

Покровительственно целовать в голову
тех, кто менее известен, чем ты,
но может быть тебе полезен.

Шумно напоказ лобызать при встрече себе равных.
Разговаривать со знакомыми так,
чтоб вокруг сразу выростала кучка любопытных.

Всё это надо делать легко и непринужденно.

И ещё.

Для утверждения своей оригинальности
нужно овладеть чем-то этаким.
Научиться блестяще играть на бильярде,
курить гаванские сигары
или приобрести экзотический перстень...

Таков краткий перечень
того, что надо уметь
и что умеет делать
всякий мало-мальски известный человек.

* * *

Славьте мёртвых!
Заслуги их превозносите,
восхваляйте их скромность, их веру и взгляд.
Что сегодня не годно –
отсейте в своём историческом сите,
что годится –
из бездны забвенья верните назад.

Выбирайте цитаты, желаньям живых угождая,
афоризмы ищите, что годны на все времена.
Есть в творениях мёртвых
струя бесконечно живая,
есть в оркестре усопших
звучащая вечно струна.

В их садах тяжелеют плоды,
в их стадах бродят тучные агнцы,
в книгах собраны соки извечных наук,
под знамёна их снова и снова идут новобранцы,
драгоценным вином переполнен их старый бурдюк.

Отрастает у них
всем доступное дойное вымя.
«Нет» не скажут они,
значит,
есть только «да».
Есть у мёртвых одно преимущество перед живыми:
и к хуле
и к хвале,
равнодушны они навсегда.

* * *

Запрятать рукопись!
Не дать профессорам
над гением глумиться после смерти!

Измерьте непотребство их и срам,
бесстыдство их учёное измерьте!

Возьмите жухлый перечень трудов,
послушайте, как зазвучит бесчестно
слюнявое сюсюканье их ртов
там,
где одно молчание
уместно.

Счета, записки, мелочь соберут,
клозетные листки занумеруют,
чтоб нацепить за канцелярский труд
звонящих званий выпренную сбрую.

Свои способности и свой убогий лоб
так изукрасят славою чужою,
как будто гении, хвалимые взахлёб,
лишь из-за них теперь чего-то стоят...

И разделив классический пирог
пером из лучшей золочёной стали,
не Пушкин, не Есенин и не Блок –
профессор Имярек стоит на пьедестале!

ПОКОРИТЕЛЬ ЗЕМЛИ

В грязном воздухе
грязной тиной
тянет дым перетягом тугим,
замучённой, кручёной пучиной
в небеса опрокинут дым.

Заводские дворы,
города ли,
то ли свалок чадаящая гниль...
Перечёркнуты дымом дали,
перетёрты в копоть и пыль.

Придушённаядохнет природа,
глохнут реки и чахнут леса...

То,
несущий в утробе уroda,
Покоритель Земли поднялся.

Он безлик многоликостью тощей,
мозг – в тумане расчётов и цифр,
и вздувает безумною мощью
мышцы рук и разросшихся икр.

Он готов в одночасие и в год –
ни сомненья, ни жалости нет –
за пригоршню сегодняшних выгод
истереть в порошок белый свет.

Сам себе произносит приказы –
их язык и убог, и упрям,
в них пластаются пятна проказы,
волочась возле свалочных ям.

Сам себе,
для себя,
о себе лишь...
Замкнут круг себячтимых орбит.
Грязь любую в их недрах отбелишь
и придашь привлекательный вид.

Но отравя пребудет отравой.
Как ни бейся, её не прейдёшь,
на себя всей своею оравой
направляя отравленный нож.

Воздвигайте ж из пепла и тлена,
оптимизмом себя веселя,
страшный памятник нашей вселенной –
ад земной
на планете Земля.

КРАСАВИЦА

Обмякла, одрябла,
щёки висят,
в пояснице почти неприметно,
а всё же согнулась.

Ещё одевается ярко
и так говорит,
чтоб все слушали,
все обращали внимание,
оборачивались,
спрашивали: «Кто такая?..»

К женщинам
покровительственно-снисходительна,
к мужчинам
сдержанно-настороженна.

И лишь по этим повадкам,
немного странным, немного смешным
для пожилой,
можно догадаться:
когда-то была красавицей.

И так пронзительно-грустно
смотреть на неё.

* * *

Лепит в лужи лотерейные билеты –
лепесточки трёхкопеечной мечты,
лоскутки,
в которые одеты
ненадёжные надежды
и желанья, что так робки и пусты.

Лотерея,
лотерея,
лотерея...
Срок прошёл,
и открылся барабан.
Ветер перья лотерейные развеял.
Новый срок надежде
снова дан.

Хрустки розы обещаний лотерейных.
Вот теперь-то
повезёт наверняка!
Вам хотелось по стаканчику портвейна,
а получите
бутылку коньяка!

* * *

...И человек становится великим.
Теперь лицо его зовётся ликом.

Все радости его
и все печали
историки заносят на скрижали.

И только где-то,
на обрыве сердца
былинкой встала песенка из детства.

И только как-то,
удержавшись зыбко,
ещё живёт далёкая улыбка.

Всё это называют мелочами,
а в них — смысл радости,
а в них — зерно печали...

* * *

О балагуры,
остроумцы,
говоруны
и крикуны!
До самой прели
преть готовы,
и ваши языки
курками
навек надёжно взведены!

Хвалить иль хаять —
равной хваткой
берётесь — был бы свыше зов.
Надёжна в памяти обойма
из двух десятков нужных слов!

О зубры,
знатоки
и доки:
шербет, шартрез и шашлыки...

Надёжна после слов —
поджарка,
а вы —
надёжны, как штыки!

Промозглым утром
все сдают бутылки.
Сдают опустошённое веселье,
сдают вчерашний праздник,
прошлый смех.
На дне —
две капельки воспоминаний пылких,
две искры неприкаянных —
их выливают сумрачно
на снег.

Здесь
очередь,
как жизнь,
людей смешала.
Старик
свою бутылку шарит
в кармане дряхлого пальто.
Последний раз...
Так много и так мало
он видел праздников
и пил,
и пел,
и говорил не то...

И девушка.
Синь за ресницами,
синь под глазами,
и в голове предутренний сквозняк.

Смущённо
в сумке горлышки перебирает
непослушными руками,
испуганно косится –
не увидел бы кто из знакомых
и матери
не рассказал бы, что и как...

Старик и девушка –
две недопитых капли,
две капли, пролитых на истолчённый снег.
Одна скатилась под ноги,
другой кристаллик вкраплён
в снежинки,
затаившие свой смех.

Все памятники
в снегопад
нелепы.
Великий снег их делает смешными.
Такого им в таких местах налепит,
что хоть стирай из-за конфуза имя!

В платок по-бабьи наряжён
писатель.
Философ нацепил песца на фрак.
Актёр стал длиннонос, как дятел,
поэт
клешняст и мелкоглаз, как рак.

А снег всё лепит,
с грубою издёвкой
глумясь над тем, кем всякий восхищён.
Прохожие смеются.
Им неловко,
но что поделать, коль кумир смешон!

И всё из-за чрезмерности бескрайней,
из-за того, что снег
без всяких мер
набросан
и навален здесь случайно:
без стиля,
без искусства,
без манер...

Великий Снег,
он падает без меры,
не становясь от этого смешным.

Наверно,
есть величия пределы,
да мы
кумиров мерим не по ним.

Приходит к старости
благообразность,
уходят в прошлое все острые углы.
Как будто бы елеем лица смазаны,
носы округлы,
головы круглы,
очки прозрачны, как глаза младенца,
безгубый рот лишь истины речёт,
и вытертые чистым полотенцем
вставные зубы – все наперечёт.

А было, было...
Что когда-то было!
И дралось, и мечталось, и спалось,
и с губ срывалось бешеное мыло,
и головы летели под откос!

...Под утро
снится, как жилось и пелось,
любилось меж перин и средь травы...

Проснётся,
а в стакане рядом –
челюсть
глядит
оскалом мёртвой головы.

IV. Из канцелярской
лирики



В бессмысленной, настырной толчее,
где всё рассчитано
и всё – напропалую,
намалевав серьёзность на челе,
чиновники
толкуются и толкуют.

Я бестолков к толковым их речам,
ведь бестолочь толочь – какая новость!
Перетолковывать толковым толмачам
передаю чиновничью толковость.

И ухожу,
чтоб без толку стучать
корявой палкой в светлые рассветы,
чтоб ждать, как солнце встанет на лучах,
как из бутонов
вылупится лето.

* * *

Пустой значительностью полон,
чванливо должностью кичась,
глядится он Наполеоном,
калифом сделавшись на час.

В тяжелой шляпе, в габардине
и в брюках дорогим мешком.
Всё, что новей него – отринет,
всех, кто умней – сомнёт тишком

Вниз – изойдёт слюной от брани.
Вверх – закусив язык, юлит.
Кто не по нраву – в рог бараний,
по нраву – вмиг озолотит.

В конторе, в тресте и в отделе,
куда ни брось – везде хорош.
Всю жизнь проводит он при деле,
да только дела ни на грош.

Не жизнь, а жухлый том «записок»,
где дни —
как стёртая строка.
И словно кожура сосисок,
перчатки в сморщенных руках.

Обвисшее пальто и шляпа
давно увяли, как лопух.
Их пылью дряхлости заляпал
пух серой мысли и прорух.

Жизнь
канцелярским коридором
прошаркала швырком калош,
напичкала
чернильным вздором
и суетой безликих рож.

И вот теперь —
одни ошурки
(припомнишь — в горле запершит),
лежат, как горькие окурки,
на дне прокуренной души...

И всё ж он
не без самомнения.
Хоть мнение о себе самом,
как худосочное растение,
заложённое в жухлый том.

* * *

Учитесь у осенних мух
солидному жужжанию.
Жужжание поднимет дух
и привлечёт внимание.

Наполните жужжанием
контору и собрание.
Жужжанье, как призвание,
вам принесёт признание.

Вы людям прожужжите слух,
жужжа в любое ухо,
что вы жужжите лучше мух,
а, значит, вы – не муха!

ТРЕЗВЕННОСТЬ

Ужасна трезвенность тупого бытия.
По-канцелярски дни подшиты в «Дело».
Дела... дела...
А где же в деле Я?
Где жизнь меня за делом проглядела?

Часы – канцеляристский механизм –
размеренно и трезво мерят время:
от сих до сих...
А чем же мерить жизнь?
Кто мерку спрятал в мёртвой теореме?

Кто трезвенностью залил до ушей
всех до пьянчужки, вспухшего от пьянства,
и постным сахаром
тарелку кислых щей
подслащивает с редким постоянством?

Какой неслышный медленный паук
нас оплетает трезвенностью чинной?
И даже зов любимых глаз и рук
смиряет канцелярской мертвечиной?

И почему же, от каких щедрот,
без понужденья,
по оглядке,
сами,
для песни робко приоткрытый рот
сжимаем вдруг стальными челюстями?

Но трезвость наших глаз и наших уст
таит предчувствие под маскою унылой:
созреет в сердце ягода безумств –
и всё взлетит от животворной силы!

* * *

У канцелярской скрепки
объятья нынче цепки.
Захватит пук страниц –
и сразу падай ниц.
Прихватит два листочка –
вот тут тебе и точка.
Пришпилит ряд статей –
не соберёшь костей.
Судьбу подколет к швали –
и поминай как звали.

* * *

Казённый небосвод казённых звезд
для различенья человеков создан.
Тому — одна звезда,
другому — горсть и гроздь —
чтоб различались не по лицам,
а по звёздам.

В казённом небосводе есть луна,
чтоб из неё
казённые портные
нарезали резного галуна
и оттенили звёзды накладные.

Казённый небосвод
и стар,
и нов.
С варягов начался он,
то ли с греков...

И люди потерялись меж чинов.
И звёзды заслонили человеков.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Открываю окно
и впускаю
первый снег.

Он ложится на стол, на бумаги.
На зелёном сукне канцелярском
ранний снег – как на мёрзлой траве.

Я смотрю – он съедает чернила,
он печати мусолит...
От «входящих» и «исходящих» номеров
остаются набухшие кляксы...
Всё погибло!
Теперь ничего не понять!

Лишь одно мне понятно:
сейчас первый снег.

Я впускаю его, разбросавши замазку,
проклейку и вату –
всё, что сделано для утепления рамы.

Первый снег,
снег, сырой и стремительный,
входит он в надоевшую комнату эту,
где плоская плесень оплела потолок,
чтоб напомнить мне: осень в разгаре!
Чтоб напомнить: мир снега огромен,
и работа его велика –

всё засыпать — квадраты полей непомерных
и вот это
убогое поле стола.

Я впускаю его —
пусть побудет,
пусть расскажет он мне о просторе
и о ветре,
и о непогоде,
и о сумерках, долгих осенних,
за которыми
стынет зима.

* * *

Мне предстоит встреча с чиновником...
Разумеется, это — мелкий чиновник.
Но как бы он ни был мелок —
всё равно он крупнее меня,
просителя,
одолевающего робость при подходе к столу.

За столом Некто...
От волнения не могу разобрать лица...
У него, словно у манекена,
могут быть подведённые пухлые губки,
могут быть усики,
могут быть кудряшки
или борода...
Всё может быть.

Всё это не важно.
Важно лишь то, как взята моя бумага,
с какой скукой и равнодушием.
Затем следует недолгое раздумье:
чиновник соображает
и, наконец, находит нужное решение:
– Это в соседнем кабинете.
Там прием по средам с 10-ти до 17-ти.

Вот ведь! По средам!
Сегодня же четверг...
Ничего не решено, не сделано, не выяснено,
а как радостно,
как легко оттого, что можно уйти
и до среды не думать о бумагах и чиновниках!

ИЗ КАНЦЕЛЯРСКОЙ ЛИРИКИ

В душные дни
солнце останавливается напротив моего окна
и не хочет уходить.
Оно жжёт часами, не двигаясь.
Бумаги скручиваются и желтеют,
руки обугливаются,
чернила выкипают,
выцветают печати,
голова морщится наподобие сушёной груши.
А солнце всё не хочет уходить.

Нравится ему смотреть в канцелярскую комнату?
Хочет оно выучиться делопроизводству?
Желает разобраться в ведомостях,
инвентаризационных актах, заключениях,
справках, рецензиях, запросах, инструкциях,
указаниях, распоряжениях, приказах,
уведомлениях и других «входящих» и «исходящих»?

Не потому ли солнце стоит на месте?

Но
может быть
другое...
(Какая мысль... Почти кощунство...
Или это бред от чрезмерной жары...)
Может быть,
оно хочет...
(Трудно произнести даже про себя!
Нет, нет... Чур меня, чур...)
Может быть, оно хочет
сжечь бумаги, испепелить канцелярию,
высушить меня окончательно
и выдуть вместе с пылью
вон,
чтоб остался
только мир, полный солнца?

V. *Базарный бес*



ПТИЦА СКОПИДОМ

Чудовищная птица Скопидом,
откладывая вещи,
словно яйца,
повсюду громоздит своё гнездо,
за всех когтями цепкими цепляется.

Выходит из яиц
не швец, не жнец –
в них тоже вещи,
но ещё похлеще:
магнитофонной глоткою птенец
вещает, чтоб к вещам тащили вещи...

В вещах с вещами
(хоть порой без шей) –
на шее – вещь,
на пальце – вещь,
на ногте...
Залезли в вещь
и едут вдоль вещей
добыть вещицу «ну, вы просто охнете!»

Садится Скопидом, но не на дом –
хитрей она, среди людей гнездится –
ей вся судьба
становится гнездом,
и вьёт её
чудовищная птица.

ЗЕЛЁНАЯ КОПЕЙКА

В кошёлках у метро – зубчатка патиссона,
и луково перо, и яблоко ядрёно.

С окраин прибрали платки да кацавейки,
спеша вогнать в рубли зелёные копейки.

Лик неказист и рост... Одежка? Пусть нелепа.
Итог труда их прост, как истина, как репа.

В земле палцы их, в навозе их калоши,
но городских франтих, не глядя, облапошат.

В петрушку – чернобыл (сорняк идёт не всякий) –
чтоб притчу не забыл про плевелы и злаки.

Расход наш – им доход. Переплатил? Едва ли...
На то и щучий ход, чтоб караси не спали.

Зато, какой кочан, каков петрушкин корень!
Лук, даже сквозь колчан, так кошельки и порет!

И редька: ай-люли! Сок помидора – пей-ка!
Стручком трещат рубли – горошина – копейка.

Боюсь владельцев дач,
страшит меня их милость.
Из многих неудач
удача их сложилась.

Калитка – словно лаз,
участок мал и узок.
Прищурен хваткий глаз,
и губы – вроде гузок.

Проходишь мимо ты
и чувствуешь всей кожей
дыханье немоты,
которая их гложет.

Над вёдрами песка,
над кучей перегноя
убогая тоска
лишила их покоя.

Осевшее бревно,
подгнившие стропила...
Их помыслы давно
забота затопила...

Когда из неудач
решишь создать удачу,
пройдись вдоль старых дач,
подыскивая дачу.

БАЗАРНЫЙ БЕС

Как благодушие спокойно и безлико.
Но вдруг
все рты скривило поперёк –
над улицей
кошачьим криком
истошно шаркнуло:
«Украли кошелёк!»

Базарный бес, шныряя меж рядами,
кому-то рогом сунул под ребро,
и все взбесились, позабыв о сраме,
рукой бесовской пущены хитро.

Вся дребедень,
вся мелочь дел житейских,
вся скукота глухих зевотных спазм
задёргалась в каком-то буйном действе
и всех, кто был, объединила враз.

«Держи вора!» –
Навыорот, как рвоту,
несёт обезумевший в гоне люд.
На миг забыть знобящую зевоту,
прыщавый блуд
и бледность постных блюд.

Топчи ногами, палкой бей и камнем!
Хлещи верёвкой, хряпай кулаком!
О сколько страсти в лике истуканьем,
когда он бесом к пропасти влеком!

Пока вокруг тузят и в хвост и в гриву,
не ведая, где свой,
а где чужая рать,
базарный бес, подхохотнув глумливо,
отправился на биржу
поиграть.

ДОБЫТЧИКИ ПИЩИ

Жарища ли жарится,
вьюга ли свищет —
снуют по продмагам
добытчики пищи.

Всё знают:
где много чего, где немножко,
где ножки «дают»,
где рожкѹ,
а где рѹжки.

Пронюхают через стену и витрину
белугу, балык, лосося, осетрину.

Добытчик — знаток,
он удачливый дока:
в яйце петушка угадает до срока.

Чуть в очередь –
всех перечтёт, всё прикинет,
его ли кому провести на мякине...

Идёт в магазин,
как грибник и охотник –
он выведал место –
одно среди сотни.

Себе на уме он –
нет тёртей и мятей.
На то и осётр,
а не килька в томате.

ПОСЛЕДНИЙ МЕРИН

Наивный запах лошадиного пота
в тесном дворе у овощной палатки.
Смирный мерин, придавленный работой,
грустно размышляет о торговых неполадках.

Воздавая должное моркови и капусте,
он копает глубже, забирает выше –
тут никто так вдумчиво не судит об искусстве,
пробежав плакаты и пожевав афиши.

Мерин разбирается и в овсе, и в сене,
и вопрос о стойле его волнует тоже...
Он мешкам с картошкой в этот день осенний
многое сказал бы, да говорить не может.

И грустит, не понят и никем не признан,
в куль слезу роняет и бормочет что-то
глыбам серых зданий, скушных, словно призма,
миру электроники, ракет и самолётов.

ЖЕСТЯНАЯ МЕЧТА

Мечта не ведает износа.
Мечтают напролёт всю жизнь:
купить жестянку на колёсах
и в ней по городу кружить!

Выпендриваться, лезть из кожи,
влезая под лазурный лак,
и на задумчивых прохожих
смотреть, как на босых бродяг.

Найдётся ли бледней причуда:
с улыбкой холить эту жесть
или терзаться, что полуда
от брызг и пыли может слезть.

Священнодействовать в моторе,
лежать в мазуте на земле
и горевать безмерным горем
при виде трещин на крыле...

Быть именинником счастливым,
когда вдыхая гарь и газ,
рулишь по уличным извивам,
своей машиною гордясь.

И радоваться днём и ночью,
как выхолена и чиста
в своём жестяном худосочьи
осуществлённая мечта.

БАЗАР

Базарная торговля.
Жалость...
В тине
не раки, а рачишки – как сверчки.
С десяток их лежит на мешковине,
клешни закрючив скрюченно в крючки.

Торговец:
бородёнка и шляпёнка.
Хитрит:
«Дешёвка – штука пятачок!»
Но нет любителей,
и только две девчонки
попались, будто мелочь, на крючок.

Визжат,
хихикают,
как рака взять не знают...
Рыбак в карман кидает медяки.
И пятаками старыми
сползают
по мешковине жухлые рачки.

СРЕДИ ВЕЩЕЙ

Здесь живёт человек, любящий вещи.
На всём, что его окружает
незримо, но броско написано:
ВЕЩИ – СМЫСЛ БЫТИЯ.

Вот его дом.

Фасад отделан дубом,
как величественный гардероб –
панель к панели, добротнo
от нижнего до верхнего этажа.
Окна зеркального стекла
непроницаемы для взгляда.
Подъезд, словно полированный шкаф.
Ручка двери сияет начищенной литой латуњью –
к ней боязно прикоснуться
(не остался бы след от руки...).

Лестница
настоящего тёсаного камня.
Дверь в квартиру –
шедевр краснодеревщика:
взглянув, не открывая, видишь,
какие за ней просторные, удобные комнаты,
какие дорогие вещи.

А вот и человек.
Светло-серый летний костюм
только что от портного.
Человек садится в светло-серую новенькую машину.

Хлопает дверца.
Человек сливается с автомобилем.
Сквозь стерильную прозрачность ветрового стекла
видно лицо –
абсолютно спокойное,
абсолютно правильное
с уверенными узкими губами,
светло-серыми (под цвет костюма и машины)
глазами.

Мягко включается мотор.
Машина старательно объезжает меня.

И на миг
я встречаюсь взглядом с её фарами,
а затем с глазами её владельца.
В зеркале рефлекторов и в его глазах
виден отделанный дубом дом, подъезд, дверь,
квартира –
всё, что он любит, всё, что есть у него.

Он объезжает меня,
как объезжают столб или дерево.

И мне становится страшно.

ЛЕСТНИЦА ПРЕСТИЖА

Одолевая лестницу престижа,
минуешь первую ступеньку
без труда:
что может быть доступнее и ближе,
чем рыжая, родная борода!

Ступень вторая
несколько повыше –
бросай престижу денежный кусок.
Ступень взята –
ты на прогулку вышел,
и тянет дог
тебя за поводок.
Теперь – на третью,
коли есть силёнка!
Знакомства заведи среди барыг.
И в колер к догу –
добрая дублёнка
тебя заставит сделать новый вспрыг.

Четвёртую ступень
осилишь с бою,
мечту оформишь в жестяную быль:
в дублёнке,
с бородой,
с собакой
и женою
займёшь по праву свой автомобиль.

Решив такую сложную задачу,
ступеньку пятую
одолеваешь враз:
удачно в дачном пригороде дача
завистникам на зависть поднялась.

Удачник ты –
у всех такое мнение,
ты всеми уважаем – это факт.
Остались две ступени:
ожиренье,
и вслед
ступень последняя –
инфаркт.

VI. Ресторанный мотив



По-византийски изукрашен
ресторан —
всё в позолоте,
в зеркалах,
в дымке белёсом.
И,
словно чудо полуночных стран —
буфетчица
пудов на десять весом.

Куражуются прыщавые юнцы.
Скворчат котлеты на жиру бараньем.
Разглядывают даму наглецы.
Бездарны
сценки в местном ресторане.

Пьют просто,
без прикрас и слов
шофёры, гастролёры и майоры;
на позолоту глядя,
жмутся у столов,
неловко тычут вилками
и возят ложкой споро.

С мороза,
мимоходом,
в суете.
Промёрзли: на ветру от самой рани...

И в этой византийской лепоте
одна буфетчица
на месте
в ресторане.

* * *

– Эй, трубач,
эй, ударник,
эй, певичка!
Расскажите, что такое
жизнь людей?

– Все танцуют,
у всех одна привычка –
просят танец
хлеще,
злей,
и веселей.

Саксофон,
барабан
и погремушки.
Рванный ритм
резв, размашист и быстр.
Джаз диктует шаг
девчонке
и старушке,
подчиняются ему
и дворник, и министр.

– Эй, скажи, гробовщик, не скрывая,
что за штука – жизнь людская,
в чём она?

– Люди
только тем и заняты, что умирают.
Лишь гробами,
да смертью жизнь полна.

С пользой трать, милый,
времени остаток:
вот глазет,
это креп и батист.
Дай обмерю от макушки до пяток.
Всех я так –
будь ты дворник, будь министр.

– Эх, послушать вас –
жизнь
после пляски
сразу норовит примерить гроб.
Словно не поют взлохмаченные краски,
не мигают звёзды,
и весна капелью не стреляет в лоб.

Разве можно
перья выщипать из крыльев у фантазий,
белое черня
иль чёрное беля?

...Хорошо, что я не барабанщик в джазе
и гробы –
специальность не моя!

* * *

Жалкая роскошь гостиниц:
позолота дешёвой лепнины,
пуфов пыльная вата,
гардины, ковры и картины –
всё потёрто, потрёпано, аляповато.

Ресторана никчёмная чопорность.
Неприкаянность пьяниц.
Ненужность кутящих студентов.
Ананасы. Капуста.
Рязанец и итальянец.
Всё раздёргано,
всё мельтешит, словно старая кинолента.

Вина сдобрены спиртом,
водою разбавлена водка.
Заливное:
«осетром» называют леща.
Перебрали мелодию –
вместо вальса – чечётка.
Заглушили певичку –
два «сакса» вразброд верещат.

Все проездом,
всё мимо. Жизнь на колёсах.
Никогда не увидимся:
здравствуй – прощай.

Вечен только швейцар
с нагловатым вопросом
у дверей изогнулся – «Не дадите ль на чай?».
Холодными окнами в тьму заклинивается,
рисует, как пошлая мазня на холсте.
Нелепой колымагой громоздится гостиница,
по ступицу увязшая в дешёвке и суете.

* * *

По-свиному вина перепив
мосвинпромовского разлива,
кто заметит пролив-недолив
у буфетчицы нагло-красивой!

Не изломит сурмлённую бровь,
не моргнув, заберёт недодачи.
Для того и поят дураков,
чтобы умные строили дачи.

И в пудовых атласных руках
недомерная мерит мензурка.

Посетители сплошь в дураках,
и умна лишь буфетчица Шурка.

* * *

Что думала пальма в углу ресторанного зала?
Её обманули,
но разве она понимала?

Ей было уютно в табачном тумане белёсом –
здесь холили пальму и чистили пылесосом.

Лишь раз её вынесли.
Ливень хлестал из ушата!
И пальма сломалась,
но разве она виновата?

В НЕПОГОДЬ

Ветер, мать его за ногу!
Затеял возню шальную
и стылой метлой
натолкал вашей
народу
полну пивную.

Тут не до пьянки –
лишь бы в тепло
укрыться от хлёткой стужи.
Водки сто грамм,
сосиски
и хлеб
на ужин.

Пьют
и жуют,
и вдыхают тепло,
и курят.
Но вот из-под стойки
выполз
без ног,
без обеих кистей
человек, по-пьяному бойкий.

Распахнут драный шинельный пиджак
с криво пришитой колодкой.
— В честь годовщины
боёв за Москву
со всех па-пра-шу на водку!
Мне было тогда
восемнадцать лет.
Сейчас мне за тридцать.
Первый раз перед боем выпил сто грамм.
С тех пор без вина не спится.
Ударила в ноги
водка тогда
и руки пооборвала.
Осталась на память
одна голова
и ленточка чёрно-алая.
Мой вывод простой:
не пейте вина,
чтоб не испортить походки...

Недаром в книжках
пишут про вред,
который от пива и водки...
Необразованный вы народ...
Не втолковать вам никак –
в водке весь вред,
а война
не в счёт
и стужа,
и ветер – пустяк...
Моё предложение:
последний раз
выпьем в честь годовщины
и больше не будем вином отмечать
даже тёщины именины!..

...А ветер хлестал и кричал, и выл,
и лязгал зубами от стужи.
И только в пивную пришла тишина.
Был тих этот скорбный ужин.

ПРОПОЙЦЫ

Они не сами опускаются,
известно, что они не сами.
Их притяжение принижения
зовёт глухими голосами.

Не разум – плотское влечение,
не мысли – тяга недомыслий
их тащат в тёмные владения
на кособоком коромысле.

И в горях бытия чадающего,
в его размытости нелепой,
среди мрака неизбывных чаш его
они теперь блуждают слепо.

Жизнь завершилась мутной мутностью,
они ушли ещё до смерти,
и вы
их путь в глухой беспутности
живою меркою не мерьте.

VII. *Мымолскоӱ корнак*



ШУТ

Шутом гороховым
кривляться на задворках,
намазав щёки свёклой,
сажей нос.
Пусть зрители рыгают редькой горькой,
и смрад
сивухой провонял насквозь.

Бубенчиком на колпаке дурацком
звенеть
и петь осипшим петухом,
кривляясь, в ноги ряженым кидаться
иль гордо ехать на свинье верхом.

Личина скоморошья крепче шлема,
прочнее лат лоскутья на плечах.
Весь на виду,
но словно бы за стены
запрятался ты в шутовских речах.

Плевки да смех, да тумачи, да льётся
осатаневший вой
сиятельных невежд...
Но ты в броне шута –
всё разобьётся
о латы перелатанных одежд.

МЕЧТАЛЬНОЕ

Поступлю в институт,
научусь на писателя,
стану книги, как семечки,
с ходу лущить.
И сюжет поверну, словно бы выключатель я,
и издателей всех
заберу я в клещи.

Я мотор свой включил —
вы теперь попотейте-ка,
поработайте, взявши мою рукопись!
Ты взлетай-ка,
моя заказная патетика!
Ты, копейка моя,
на сберкнижке копись!

* * *

На совещании поэтов было парно.
От прений по рядам испарина плыла.
В узде процентов, меж задач ударных
Пегас кусал стальные удила.

«Ура! Успех достигнут небывалый!
Есть выдвиженья! Достиженья есть!» –
Отметили овечьими славой
и те, кто к славе только начал лезть.

«Повысить боевитость, деловитость!
Поднять доходчивость!
Культи-массовость внедрить!» –
Решили те, что лаврами увиты,
и те, кто лавры только начал вить.

В делах спина натруженно гудела.
Видать, дела Парнаса нележки...

Лишь иногда
поэты
между делом
писали деловитые стихи.

МОНТАЖНОЕ

Поэт монтировал поэму,
вязал строфу из блочных фраз,
вбивал избитую проблему
в сюжетно-типовой каркас.

Привычным выученным жестом
к бетону добавлял металл,
рифмовку штамповал из жести
и строки пристально считал.

Был гонорар
по ставке высшей
за скоростной монтаж и стиль.
Поэт в литературу вышел,
пошла поэма на утиль.

ЭПИГРАММКА

Поэзия его окрылена –
взлетает и тревожит ухо...

Добавим только, что она
всего лишь комнатная муха.

**ФИЛОСОФСКОЕ РАЗДУМЬЕ
НАД СОБОЙ**
(пародийное)

Бывает в жизни каждого мужчины
мучительный, волнительный вопрос:
говяжьим салом и свиной щетиной
я до ушей решительно оброс.

Как получилось, что со мною случилось?
Как жил я? Спал, свиное сало ел...
И что-то в моей жизни оборвалось,
я как-то незаметно освинел.

Что делать мне? За самобрейку взяться?
Влюбиться? Поллитровок закупить?
Иль, может, просто хорошо проспаться
и чай с вареньем на крылечке пить...

Куплю варенья, водки и рассола,
смешаю, круто солью приперчу,
на крышу влезу в виде полуголом,
заплачу горько и захохочу!

Заплачу над собою я спросонку,
захохочу обратно ж над собой.
Как трудно деловым стать поросёнком
и как легко — обычною свиньей.

ПРОСТОЕ РАЗДУМЬЕ НАД СОБОЙ

У дворника резиновый кишечник
замотан в деревянный барабан,
блестит на солнце медный наконечник —
он ставит клизмы уличным домам.

Полезный труд! Тебя я уважаю
и с дворником здороваюсь всегда.
Я б пригласил его на чашку чаю,
да чай не пью — такая вот беда!

Я сам, друзья, был дворником сердитым,
и дворницкая мне известна боль.
Я сделался поэтом именитым,
чтоб пить не чай, а чистый алкоголь!

РАЗМЫСЛИТЕЛЬНОЕ

Ударила в башку моча —
и места не найду:
«На ча стихи-то мне? На ча?» —
кумекаю в бреду.

Но отливается моча
в глубокий унитаз,
и вспоминаю я — «на ча»,
и лезу на Парнас!

ПОЭТИЦКО-ЭПИЦКОЕ

Я пиво лопал,
кашу жрал с тарелки,
ел трюфели и устрицы глотал,
к писателям ходил на посиделки,
поэтам лапти лыками латал.

Я приобщился, пристрастился, вырос,
мне этакое что-нибудь подай:
пусти меня на поэтический клирос,
разрежь литературный каравай.

Надень-ко мне эпицкую кирасу,
дозволь-ко разлететься во всю прыть
и перед самым пенсионным часом
листом лавровым
лысину прикрыть.

ЛИРИЦКОЕ

Я на работе забурел,
я закружился, братцы!
Каких-то дел не доглядел,
к добру не смог добраться.

Плевал, бывало, в потолок,
с плеча рубил и ляпал...
Чегой-то я недотолок,
чегой-то недотяпал.

Сидел в берлоге, как бобёр,
забыв о свежем ветре...
Я до чегой-то недопёр,
чегой-то недопетрил,
недотянул, недодержал,
не так прокукарекал,
не ржал, не рыпался, не жал,
недоперекумекал.

Теперь я стану поумней,
плясать начну от печки:
я разучу из букварей
учёные словечки.

Начну писать про киберне-
тику я постоянно,
пить буду только кабернэ,
смакуя из стакана.

Осовременившись вполне,
стихи обактуалив,
поеду на крутой волне,
нажав на все педали.

УРУГВАЙСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Хотя я хорошо владаю
американским языком,
вам расскажу об Уругвае
на нашем русском, на простом.

Скажу вам просто и понятно,
как бабки сказку говорят,
и так приятно, так опрятно
свою кудельку теребят.

У той кудельки шерсть густая
и нет ей краю, нет конца —
вот так же песня, вырастая
дает слова, как шерсть овца.

Из шерсти той плету стихи я,
вяжу поэмы, шью трико.
Поэзия — моя стихия!
Плыть по стихии нелегко!

А чтоб вас не застала, братцы,
критическая буря вдруг —
из пробковых рекомендаций
спасительный готовьте круг.

Садитесь в шлюпку рецензента,
потом в корабль редакторов,
в мешке из лучшего брезента
храня кудель своих стихов.

И вот, усевшись на бушприте,
под ветром, в буре и пурге
носки редактору вяжите,
да чтобы впору, по ноге!

Избави Бог, не в пору выйдет
ваш поэтический носок!..
Но ладно, хватит, всякий видит:
удачный найден образок.

Отвлекся я слегка от темы:
мол, Уругвай и проч., и проч.

Об этом пишутся поэмы,
они, как эта — все точь в точь.

ХРЯК

(пародийное)

Петух на зорьке прогорланил звонко,
ночь миновала, день вступил в права.
И привезли больного поросёнка
в свинарник из ветпункта с Покрова.

Село Покров! Оно стоит далече.
Идти пешком, так выйдет на весь день!
А хряк больной. Ну, кто его полечит
и кто ему пропишет бюллетень?

Свинарка Глаша встала спозаранку,
она и на гулянье не была:
свинья больна – нашла в кустах поганку
и съела, и очнуться не могла...

Ветфельдшер приказал: «Давайте клизьму!»
И вот всю ночь в свинарнике своём
шагала наша Глаша к коммунизму
геройским ослепительным путём!

Она согрела воду и ромашку
засыпала пахучую в котёл.
Из эМТээС¹ пришёл парнишка Пашка.
Стоял, курил и разговор повёл:

«Хлеба-то нынче, Глаша, погляди ты!»
Она ему: «Сто центнеров возьмём!»
А Пашка ей с ухмылкой: «Иди ты!»
Но Глаша настояла на своём.

И хряку в этот вечер полегшало –
он глубоко, но радостно вздохнул.
И Глаша засмеялась: «Будет сало!»
И Пашка ей на это подмигнул!

¹МТС – Машинно-тракторная станция.

В КУЛЬТНАРЯДЕ (стихи армейской закваски)

1. РОЯЛЬ И ТАНК

Рояль мне танк напоминает,
когда грохочет он из дали,
ведь пианист им управляет –
газует, жмёт на все педали.

Симфония на развороте –
такой ответственный удар!
Недаром достает комроты
резной дарёный портсигар.

Он «беломорину» закурит
и тихо кашлянёт в кулак –
ведь музыку покрепче любит,
чем средней крепости табак.

Искусство уважают в взводе!
Сидим – не звякает медаль.
Гремит, гремит, как танк в походе,
концертный лаковый рояль!

2. РЯДОВОЙ МУЗЫКАНТ

Как рядовой в строю,
со скрипкой
на сцене музыкант стоит.

С комвзводовской простой улыбкой
Чайковский со стены глядит.

А музыкант наизготовку
берёт смычок и ждёт оркестр,
и целит, точно из винтовки,
в краплёный нотами реестр.

Симфония идёт нормально,
доволен музыкант вполне,
и скрипка рубит гениально
на средней радиоволне.

3. РЯДОВОЙ КОМПОЗИТОР

Нет, здесь не ноты, не блок-ноты,
не композитор у стола,
а командир большой музроты
вершит и правит муздела.

Прикажет – по ранжиру встанут
лирические песни в ряд,
захочет – лирики отстанут,
уйдут в лирический наряд.

И марши грохнут сапогами,
и стол точёный задрожит –
симфонии пойдут рядами
брать творческие рубежи!

А композитор дальше шпарит –
план перевыполнил свой он:
навалом песен, вальсов, арий,
симфоний – целый эшелон!

4. КУЛЬТАРСЕНАЛ

В моём полит-культурсенале
картины разные стоят,
хранятся, как винтовки в сале,
по росту выстроены в ряд.

Всё ясно – нету здесь вопросов.
Вот это – рожь, а тут – овёс.
Посмотришь – и берись за косу,
и навивай снопами воз.

Картина учит нас работать,
она зовёт идти вперёд.
Увидишь на картине лошадь –
в плуг запрягай – и в огород!

Станок увидишь на картине –
точи детали, не робей.
Не нужен мне увязший в тине
абстракционный воробей!

Я воробья дубовой палкой
из арсенала прогоню,
чтоб не щипал своей клевалкой
мою полит-и культброню!

Картине надобно на козлах
винтовкой встать в ряду других –
тогда она нужна, как воздух,
как суп, как соль, как сапоги!

ВЫКРУТАСЫ КАЧУЧА

Г. Волкову

Я вам расскажу о врачах и рвачах,
Как чахла моча на отёчных плечах,

Как чмокали почки испачканных губ,
Как чавкали черви, напичканы в сруб.

Чувалы с чумизой, как нечет и чёт
Чубы через чёрную точку сечёт.

Чехона, чехонь, чухлома, чучлома,
червоным причастьем чехвостит чума.

Чердак, точно череп на чухлом торчке,
и пучится чрево с червём в пятачке.

Чураются чёрные черти черги,
чугунное чудо чадят с кочерги.
Зачем же чудить, чавычу замечать –
уж лучше качучу чечёткой стучать!
Мечтаю: чучук под четок, по чуть-чуть,
чтоб к чёрту зачалилась нечисть и чудь!

ПОРЯДОК У ЩЕЙ

Угощая Кашея,
перекушался щей я
и на зависть Кашею
с каждой ложкой толщею.
Ну, а тощий Кашей
ото щей стал тощей...

Ход столь странных вещей,
знать, в порядке у щей.

* * *

Купил мосье Моро с женой
камбалы мороженой.
Спросила у Моро жена:
«Кто сильнее морожена?»
Отвечал Моро жене:
«Ты, милая, мороженой...»

Подрядились свинопасы
увеличить свиномассы:
на любого свинопаса
выдать больше свиномяса!
Вдохновились свинопасы,
разыгрались свиномассы.
И пустился свинопас
в разудалый свинопляс!
Свино-па у свинопаса
подхватила свиномасса
и переплясала всех
на пути в колбасный цех.

Вот Индейка. Вот Индей.
У Индея нет идей.
Попросил Индей Индейку:
«Ну-козь, высиди идейку!»
Поднатужилась Индейка –
закудахтала идейка.

В люди вывела идея
безыдейного Индея.

* * *

Меня никто не сможет сбить с катушек,
мои катушки – это, братцы, да!
Бей кружкой по башке, стреляй из пушек,
греми в сто тысяч детских погремушек,
я на катушках удержусь всегда!

* * *

Дурак одурачен,
колпак околпачен,
Егор объегорен...
Как быть с этим горем?

ОЧЕРЕДНОЙ МУДРЕЦ (из недавней истории)

Встав у трибуны враскорячку,
с бумажки не спуская глаз,
с трудом выжёвывает жвачку
мочальных слов и мыльных фраз.

Про светлые заблеял дали,
прохрюкал вздор про глубину...
Те дали все в гробу видали,
а глубина – иди ко дну.

Замямлил, занудил, замекал,
семь вёрст отмерил до небес,
хоть небеса давно, как пепел,
а вёрсты по вершку в обрез.

К его бессмысленной работе
сочувствия никто не знал.

Как рот, раздёрнутый в зевоте,
молчал уныло сонный зал.

Чтоб поразмяться, хлопать бурно
взялись. Ушёл (иль унесли?).
Едва вздохнули, на трибуну
другого под руки ввели.

СОБАКОВОДЫ

Он выгуливает сучку,
с кобельком идёт Она.
Он бы взял Её под ручку,
да в окно глядит жена...

С десяти шагов, не ближе
их блудливый разговор.
(Кобелек уж сучку лижет –
ну и темпы, ну напор!)

– Обожаю вашу сучку! –
шепотком Она шипит, –
Предлагаю с сучкой случку! –
Взор потуплен, постный вид.

– Принимаю предложение,
комплименту очень рад...
Лишь одно соображение:
где пристроить нам щенят...

– Что за детская наивность! –
слышен томный шепоток, –
проявите же активность,
заучите адресок.

Есть приличная хатёнка,
не какой-нибудь бордель...
Вашу милую сучонку
поджидает мой кобель.

Он выгуливает сучку,
с кобельком идёт Она.
Всем известно, что без случки
жизнь собачья не полна.

CHARMANT, CHARMANT...

(в духе куртуазных маньеристов)

В цилиндр небрежно брошены перчатки
и рядом – праздно – трость.
Пришёл по перламутровой брусчатке
Незванный Гость.

Он вам принёс изысканную тэму –
пишите мадригал...
Вы нервно ощипали хризантэму
в пустой бокал.

Так, что же? Не хотите мадригала?
Charmant, charmant...
Плеснув чернил в отверстие бокала,
садитесь за роман.

Надев цилиндр и застегнув перчатки –
подмышкой – праздно – трость,
ушёл упругим шагом по брусчатке
Незванный Гость.

VIII. *Влюблённость*



* * *

В этом городке
живёт воспоминанье,
тихо и невидимо живёт,
тайно расцветает
и по тайне
тайный след таинственно плетёт.

Челноками солнца,
лунной пряжей
ткёт оно по памяти узор,
и никто не заподозрит даже,
сколько зорь
и сколько лун прошло с тех пор.

Это было, было это, было!
Зори, луны, время...
Но легка
памяти работа –
засветила
уголок бывшего
искрой уголька.

Ты не раздувал бы это пламя –
пепел облаком влетит в глаза...

И висит за синими лесами
прошлое, как давняя слеза.

Судеб скрещенья...

Б. Пастернак

Судеб скрещенья –
как в огне крещенье.
Судьба к судьбе – кресало о кремень!
Перехлестнутся взоры, словно звенья,
и колом из всего коловращения
вдруг выпирает
переломный день.
Вчера лишь незнакомые,
сегодня,
увидевшись, сплавляются в одно.
Их прошлое скользит по шатким сходням,
срывается и падает на дно.
И жизнь сначала
барку закачала,
и понесла, попёрла, повлекла...
Как будто вовсе не было причала.
Где тишина литым стеклом стояла,
звонят осколки битого стекла.

О, переломы жизни!
О, скрещенья!
Суды судебных.
Нить, впряженная в нить.
Нежданной встречи
принимаю день я,
чтоб снова
жизнь
(в который раз!)
прожить...

* * *

В нелёгкой жизни
надо жить легко.
В безрадостном
всегда сквозится радость.
Есть ночь,
есть мрак,
но лунным молоком
вся тьма до звёзд далёких
пропиталась.

Ты видел, как в июне снег сверкал,
и думал:
свет лучат одни лишь льдины.
Но умудрённо-светлая рука
к тебе прижалась шеей лебединой.

Казалось,
красен только блик зари,
отчёркнутый Полярным кругом,
и вдруг
у губ, обветренных твоих,
зарделись неожиданные губы.

И там, где застыл тусклый небосклон
худые лапы лиственниц Таймыра,
почудится
волос далёких звон,
копной прикрывших половину мира...

Не давят днища тяжких облаков,
коль можно где-то, у другого края,
пить лунное,
парное молоко,
рассветных губ
от губ не отрывая.

* * *

Без будущего встречи,
без ожидания встреч.
Не спорит горечь речи
с надломом милых плеч.

Привыкли, хоть и ранит
привычная судьба –
при каждом расставанье
прощаться навсегда.

Надежды нам не надо.
И нет души родней.
О горькая отрада
последних наших дней.

* * *

Сделаешь разбойничью причёску –
волосы на лоб мохнатой шапкой.
Будет ветер бить листвою хлётко,
под ногами льдины встанут шатко.

Отмахнёшь листву,
пойдёшь по льдинам,
тонкою рукой прорежешь дали,
там, где лёгким летом лебединым
облака над льдами пролетали.

Твой разбой совсем тебе неведом –
для тебя обычна эта смелость.

Я погублен.
Полынья...
Шёл следом...
Мне таким же смелым быть хотелось.

СЛЕДЫ

Дом опустел:
следы ушли к дороге.
Опали вѣтлы.
Обнажилась даль.
Два следа на полу,
два следа на пороге.
А где еще?
Найдешь едва ль.

Они слились с песком и колеями,
с травой набрякшей,
с выцветшей листвой;
следы ушли со многими следами –
своя у них судьба
и век у следа свой.

Косым дождём под тучами худыми
их стёрло и рассеяло, как дым.

Где ж разыскать знакомые следы мне,
которые ушли, оставив дом пустым?

БАРЖА

Любовь для всех становится уделом.
Вот рябью перехвачена река,
и ветер низовой
с бесстыдством смелым
хватает баржу за бока.
Цветочной пылью и гречихой пьяный,
он шали вётел истрепал до дыр.
Ему плевать,
что у баржи-беяны
есть свой законный старенький буксир!
Её он валит,
рвёт брезент и снасти,
поёт и стонет меж вспенённых струй.
Он не скрывает ветрогонной страсти
и лепит в бёдра мокрый поцелуй.
Пускай буксир скрипит своим канатом
и злобу вымещает на воде!
Беяна встала возле переката
и не желает на него глядеть.
Ей нравится
шальная бесшабашность
и страсти стон,
и грубых ласк разгул.
Но в радости
ей от предчувствий страшно –
кто видел,
чтобы ветер
вечно
дул?

Сосновым сердцем, угадав измену,
душой рогожной чувствуя беду,
она считает страстью
кочья пены,
любовью – песню, спетую в бреду.
Как ветреного счастья век недолог!
Беяна ещё верит в лучший час.
А ветер на холмах в заречных сёлах
уж с мельницами затевает пляс.

Всё успокоилось и спит в вечернем дыме.
Буксир и ветер –
все давно ушли.
Одна баржа слезами смоляными
тихонько плачет, стоя на мели.

УБИЕНИЕ

Приходят женщины
избавиться от плода,
принять расплату за восторг зачатья,
свершить убийство тонкое
в угоду
«приличью», «экономии», «рассудку»
и прочим чадогубящим исчадиям.

Все разные по счастью, по утратам
и по безумству праздничных ночей.
Всех обрядили в серые халаты.
И очередь под нож.
И тот росточек
был свой
и вот —
ничей...

Отбушевал огонь слепящей боли,
остались
пепел, пустота и пыль.
И этот мир,
как океан без соли,
и жизнь,
как страсть, утратившая пыл.

«Приличью», «экономии» в угоду...
Как больно на фигуры их смотреть!
Согнувшись, постаревшие выходят
из тех дверей,
где затаилась смерть.

IX. *Deũcmbo gemcmka*



СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ

Ест кашу.
Торжественно,
словно совершает священнодействие.
Личико в размазанной манке,
будто в ритуальной маске.

Смотрит в пространство,
а может быть, внутрь себя;
взглядом, так же, как языком,
горлом, всем телом
оценивая и принимая кашу –
лучшее из всего существующего сейчас
во Вселенной.

Личико спокойно и полно удовольствия.
На кого же похожа сейчас малышка?
На кого же?..
Да вот ведь на кого:
на Будду!
Спокойное удовольствие,
как погружение в нирвану,
как созерцание источника Жизни –
сладкой манной каши,
важнее которой сейчас нет ничего на свете!

Торжественно открывает ротик,
принимает ложку,
медленно со вкусом проглатывает содержимое.

Ротик движется, по губам и щекам
течёт излишек.

Но глаза неподвижны, серьёзные,
устремлены вглубь и вдаль.

Происходит величайшее таинство
построения и роста маленького Человека.

Он сам себя строит и растит
из манки, молока и сахара.

Это сложнее, чем возникновение новой галактики.

Поэтому так серьёзно
и самоуглублённо испачканное личико.

Но вот глаза начинают бегать,
голова отворачивается от ложки,
губы произносят сквозь наплывы каши:
«Бе-е-е!»

Ритуал окончен.

Маска стирается полотенцем.

Серьёзности и торжественности как не бывало.

Начинаются «ладушки».

ПОГЛОЩЕНИЕ

Поглощена до волосков бровей,
поглощена по горло поглощением,
сосёт со всхлипом,
тянет все жадней,
взахлёб вбирает тёплое течение.

Ручонками – в тугой бурдюк груди.
Насосик губ – в немолкнувшей работе.
И молоко по горлышку гудит,
и мир в могучем молоковороте.

Как будто две вселенных –
дочь и мать,
и Млечный Путь связал их воедино.
Для них судьба друг друга дополнять,
с двойной судьбой вступая в поединок.

О музыка начала всех начал –
всхлип голода
и радость насыщения!
Неистовый мотив твой прозвучал,
лаская слух и ублажая зрение!

Невиданной разнузданности взлёт,
неслыханный размах чревоугодья!
Пир из пиров –
младенец грудь сосёт.
Найдется ль грандиознее мелодия!

ИСТЯЗАНИЕ

Было солнце
и гор голубая гребёнка.
Птицы
скоком косым по ореху скакали.
А внизу, в светлом доме,
весь день истязали ребёнка.
И ребёнок не плакал,
но плакали птицы и камни.

Он их краешком глаза рассматривал изредка...
Было
ему странно, что птицы и камни живут, как желают.
Ему дергало пальцы и спину, и шею сводило.
Он терпел,
потому что ведь иначе не бывает.

Эта мука была для него изначальна.
Он не знал, для чего она
и почему так жестоки с ним люди.
Он противился раньше
теперь же
с покорным молчаньем
принимал то, что было, что есть и что будет.

К истязанию ребёнок давно был приучен.
Он орудия пытки с утра извлекал из футляра.
И смычок натирал канифолью,
и струны подкручивал круче...

Лишь от первого звука он вздрагивал, как от удара.

В МИРЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ

Для неё нет мелочей –
всё важно, всё значительно,
всё захватывает целиком.

Среди песка и хвои
разглядывает муравья:
глазки бегут вслед за его беспокойным движением,
шейка вытягивается,
губки собираются в дудочку.
Во всем мире сейчас есть один Муравей.

Когда весело и вокруг знакомые люди –
начинает плясать:
расставляет ручки
и слегка приседает на полусогнутых ножках.
Взрослые хлопают в ладоши и подпевают.
Но она никого уже не видит –
старательно приседает.
Личико сосредоточено,
ротик увлеченно раскрылся, и виден кончик языка,
глаза – чистая радость.
Заглянешь в них
и видишь – сейчас на всём свете
одна радостная пляска,
всё кругом пляшет, и все пляшут.

А вот садится на горшок.
Замирает.
На лице самоуглубленность мыслителя.

Будто прислушивается к чему-то грандиозному,
происходящему в недрах земли.
Напряжение нарастает,
взгляд отрешён,
ничто не может отвлечь от углублённого ожидания
события равного извержению вулкана.
Так и ждёшь пророчества,
от которого зависят судьбы народов.

И в этот миг
серьёзность сменяется улыбкой облегчения.
Малышка вскакивает со стульчика
и торжественно указывает на горшок.
Свершилось!
Все глядите, как замечательно удалось
одно из самых трудных дел!

Смотришь на неё
и начинаешь понимать:
в мире нет мелочей,
мир полон вещей, настроений и чувств,
которые достойны всего внимания,
всей увлеченности,
всего сердца.

В мире нет мелочей.

ОТКРОВЕНИЯ

Откровенье
без слов и до слов.
Только звуки и чувство.
Голосок и сердечко согласно звучат.
Если радостно – радость,
обида – так гневно и густо.
Изощённый актёр лучше скажет навряд!

На кровати стоит.
Голодна –
каша медленно стынет...
Сколько искреннего нетерпенья
звучит в голоске и в груди!
Что пророк,
вопиющий о манне в пустыне!
Бросив всё,
прибежал бы он
манную кашу студить!

А смеётся –
звонит потолок!
В коридоре, на улице –
смех нашей крохи.
Разливанным весельем одарит, не ведая, всех!
Что там клоуны и смехачи,
что петрушечники-скоморохи!
По сравнению с крохой –
зевота у них, а не смех.

Скажет «ги...»,
скажет «ге...»,
скажет «гель...», —
не слова ещё, всё же
в каждом — мысли на целый словарь.
«Ге» и «гель» — это Гегель, быть может,
царь вся диалектики,
мысли метущейся царь!

Односложность
и придых,
и вскрик,
бормотанье и слёзы —
всё от сердца,
во всём — откровенье души.

Ну, попробуй —
вот так, без сокрытья и позы
о себе и о мире своём
напиши!

ТЕАТРИК

Каждое утро
в окне нашем —
детский театрик.

Уходя на работу,
смотрю представление
(всегда одинаковое
и всегда, как впервые),
и рукой на прощанье машу.

За стеклом
два светящихся личика:
мальчик смеётся,
а девочка смотрит печально.

Мальчик так мал,
что нетвердо стоит на чуть согнутых ножках,
и смутно видна за спиной его
бабушка —
без неё он не влез бы на подоконник.
Он не знает ещё
прощаний надолго —
хочет, ладошкой стучит по стеклу...

От девочки мне приходилось
уезжать в неизвестность, в ненастье;
памятны ей
далёкие расставанья
и поэтому смотрит печально,
хоть знает: вернусь, чуть стемнеет.

Выйдя из дома,
поднимаю голову
и один миг смотрю эту сценку,
дочкой названную:
«Папа, помаши нам ручкой».

* * *

Передвижение с детьми на поездах
в мушиной липкой духоте,
в кошмаре
набитых станций,
в парной,
мочой разящей духоте вагонов.

Замурзанная соска
и бутылка в потёках синих молока.

Грудь матери,
солёная от пота.

Замусленная корка
и печенье, затёртое на угольном полу.

Испачканная рожица.
Ручонка,
липучая от сохлого повидла,
и голубые ползунки,
слинявшие от пыли и от сора.

Болячка на щеке,
на темени короста,
опреленные подмышки...

Но глаза!
Глаза чисты, как росяные капли.
И в них – начало мира,
и познание
вселенной
через этот уголок
вагона, провонявшего мочой,
и через мух в прокисшей духоте,
и через краешек окна,
где за стеклом
раскручивается
и уплывает
великий жёрнов светлого простора.

НАЧАЛА

Там, в недрах семей,
среди пелёнок,
скрипучих колясок
и низких кроваток
незаметно растут мастера:
трактористы и трагики,
маляры, моряки,
трубачи, трубочисты –
все, кто придёт после нас
и возьмёт этот мир в свои руки.

А пока
пусть вышвыривают погремушку,
наблюдая, как падает на пол,
пусть вдребезги чашка,
пусть ваза с цветами летит...
Пусть вершится познание
притяженья земного
и сути вещей преходящих!

А пока
пусть неловко на ножки встают,
одолевая с трудом
притяжение планеты.
Отсюда,
от решётки кровати,
в которую надо вцепиться,
чтобы встать,
происходит стремление ввысь,

к небесам и созвездьям.
Здесь истоки,
открытие вселенских законов
этим тельцем, ногами, руками,
здесь первая схватка
с космической хваткой Земли
и победа над ней,
и ликующая опаска
самых первых шагов
по недвижимой тверди.

Дальше всё будет проще.
И формулы, и языки –
лишь выражение,
а суть уже познана –
вдребезги ваза с цветами,
и крепкие ножки
ввысь возносят
грядущего трагика и тракториста,
трубача, трубочиста,
плотогона и плотника,
земле- и звёздопроходца.

X. *Uckyc uckyccmba*



ДРЕВЕСНЫЙ МОТИВ

Я отсюда возьму
побуревшие в бурях обрубки
сучьев, прóжили, прóвити
всех пестрядинных древес.
Я хочу сохранить
после варварской колки и рубки
лишь один деревянный,
двойной дровяной интерес.

Упадали чащобы —
в стволах сохранялся рисунок.
Распадались тела,
но распад не касался души.
О какой же слепой и глухой недоумок
топором и пилой
захотел красоту придушить?

В веренице племён было место и грекам, и гуннам.
Вот и нам выбирать, с кем теперь по пути.
Проведите пилой, как смычком,
по слоям, как по струнам,
чтоб из толщи времён
прозвучал
музыкальный, медлительный, мягкий мотив.

АРТИСТ

На меловом лице надломленные брови
и рук холёных чуть небрежный жест,
и в каждом слове
есть что-то странное, далёкое,
но есть!

Две белых кисти у лица,
и в зале
по янтарию, по зыбкой бирюзе
плывёт корабль в индиговые дали,
где не бывать ни буре, ни грозе.

Ненастоящая страдает королева,
и распускаются порочные цветы,
и ангелок с рождественского древа
крылом сусальным навевает
маэстро жалкому
картонные мечты.

Фарфоровый Китай,
Россия под снегами,
банановые пальмы под дождём...
Всё в нереальности,
всё, словно в тонкой раме
под голубым изогнутым стеклом.

БАЛАГАН ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Балаган.
Узнаю его –
весь он, как был.
На базаре, на ярмарке
на ветру парусиной трещит.
Зазывалы и клоуны
глотки дерут, выбиваясь из сил.
И не хочешь – войдёшь,
не приемлешь – возмёшь:
уведёт, увлечёт, улещит.

Пусть нейлон на плечах,
синий лак на ногтях,
сигарета в зубах...
Пусть гудят электроны,
и светится мутный экран.
Лишь взойдут на подмостки,
да ухнет под ухо труба –
узнаю балаган!

Проходные дворы этих студий пустых,
сквозняки коридоров,
бутафорский картонный уют.
И вчерашних программ позабытые всеми листы,
безнадёжная жалость
в эфир улетевших минут.

Эти лица изжёваны взглядами до синевы,
эти плечи зашамканы ртами до самых костей.

Рот разодран улыбкой –
он слаще халвы,
и он горше, чем желчь,
и он уксуса злого кислей.

Балаган.
На границе искусства,
за гранью экрана, он там,
где бездушная башня
по небу чертит электронным перстом.
Где душа человека не верит своим же мечтам,
где глаза человека не верят ушам
и где сердце не верит глазам и ушам,
где лишь ветер
в сырой парусине
и в мире пустом.

О ВЕЛИКИХ

Великие,
помимо дел, велики
ещё и тем,
что возле их фигур
столетьями прокорм находят
клики
учёных, неучей и выученных дур.

Великий умер где-то на мансарде
один,
лишь крысы шастали в углу...

Пусть знатоки
в захлёбистом азарте
заспорят, сев к огруزشему столу:

Где покупал он перья и чернила?
Был он левшою иль правшою был?
А ведь, возможно,
всё иначе было —
писал он кровью, не купив чернил.

Как был одет он?
Разыскать так сложно
его камзол, заношенный до дыр...
И ведь иная версия возможна —
в безденежье он всё спустил в трактир.

Что прохрипел великий, умирая?
Послал всех к чёрту иль призвал богов?
И ведь возможна версия другая –
не жравшему неделю не до слов...

Приятно спорить, сидя в кабинете.
А что ни спор, то веский гонорар.
Великий!
Да найдётся ли на свете
другой такой же ходовой товар!

...Исследования, книги и трактаты.
Сонм бакалавров, профессуры сонм.

Кто б подсчитал доходы и затраты
и дал Великому
при жизни
на прокорм!

ТЕАТР И ИСТОРИЯ

Лицедеев нарядили в матросскую форму,
вложили бутафорские маузеры в руки,
а в губы придуманные слова.

И те

в полном соответствии с актёрской наукой
стали изображать то,
что у заштатного драматурга
сварила недалёкая голова.

Они громко выкрикивали выпренные фразы
и, раздвинув подбитые ватой плечи,
шагали под бравурные марши.
И враги их на сцене были так глупы и беспомощны,
что ни разу
не промямлили ни одного слова
без идиотской и заведомой фальши.

Все трудности были расписаны заранее,
и на каждую трудность
было припасено простейшее решение.
Поэтому зрителей
с первого акта охватывала такая занудность,
будто в зале зачитывали канцелярское прошение.

И всё это выдавалось за историческую драму,
хотя в спектакле не содержалось ни грана истории.
Разве можно назвать историей
аляповато размалёванную раму,
наполненную наспех заготовленной бутафорией?

А ведь, в сущности,
бутафоры и актёры тут были ни при чём,
и за труд им назначили хорошие цены.

Только зрителей теперь
не заманишь калачом
к настоящей Истории, оставшейся за сценой.

* * *

Убеждали творца-современника люди:
«Подожди,
вот придут времена,
тебя примем, полюбим,
наградим и уважим,
и памятник даже поставим,
о заслугах расскажем,
издадим твои книги,
картины раскупим,
портреты развесим.
Признание и слава грядут!
Подожди,
торопиться не надо,
подожди лишь до собственной смерти!»

КИНО И ИСТОРИЯ

Что за поделки и подделки
являют фильмы о войне!
Всё недоделки-переделки
на переделкинской волне.

Перелицовки, перекройки
по выкройкам, где крой не кровь.
Три серии сошьют, как тройку,
за пару праздных вечеров.

Что взять с тех авторов и мэтров,
тракующих исход боёв
на запланированных метрах,
где лишь гримёрам портят кровь?

Где были в те поры?
В Ташкенте.
В утробе матери.
Неплохо!
Чтоб через тридцать лет на ленте
«обэпопеить» ту эпоху.

Эпоха ключьями мотала
кишки и мясо на железо...
Тех, кто всё знал, — их слишком мало.
А кто не знал, — из тех полезло.

Есть те, кто крови не видали.
Нет тех, кто кровь с сапог не вытер.

Воздвигся на экране
Сталин.
Расползся по экрану
Гитлер.

Единоборство
двух
гигантов:
великий вождь и обезьяна.
Кривляния комедиантов
среди широкого экрана.

И грязь должна быть только в меру.
И кровь, чтоб через лоб, красиво.
Вперяйся взглядом и уверуй:
война – отважество и диво!

Орудья в пене,
танки в мыле –
баталья в стиле рококо!
Ведь мэтры сами кровь не лили
и от фронтов далече были.
До премии ж – недалеко!

О ВИНОДЕЛИИ

Как медленно у черепа в бочонке
с годами крепнет разума настой!
Как долго ждать, пока напиток тонкий
дойдёт в кувшинах книг
до жаждущих душой.

У этого вина особая примета.
Есть пьяницы-глупцы,
что пьют по старость лет
и вкус не разберут,
но шамкают при этом:
«Будь виноделом я,
получше б дал букет!»

Другие же
пригубят лишь глоточек,
ни похвальбы у них, ни шума не найдёшь.
Кто труд познал,
тем ясно с первых строчек:
плох винодел
иль винодел хорош.

ЧИТАЯ...

Сквозь мутное стекло столетья
хочу Поэта разглядеть,
но не могу найти веретья –
пыль протереть,
ей имя Смерть.

Нас разделяет и разводит
даль духа, даль судеб и слов.
Основы жизни есть в народе,
у Смерти нет таких основ.

Пустые это разговоры,
что «вечно жив наш Имярек»...
Живому не дано повтора.
В века уходят лишь навек.

Пусть
в оправдание зарплаты
вершат и вкупе, и вразброд
гальванизацию утраты –
подстрочный тусклый перевод.

Не преломить
времён деянье:
забвенья медленный закон
мутит стекло непониманья
и уплотняет пыль времён.

СТИХИ О СТИХАХ

Не обозначу даты в конце стихотворенья –
пускай живёт и дышит,
пока живут коренья.

В земле, в золе и глине –
истоки нужных слов.
Писал стихи тогда я,
когда не до стихов.

Прощанье с жизнью было.
На грани бытия
меж словом и меж смертью
свой выбор делал я.

Случалось приближенье к дыханию вершин.
Меж радостью и словом
свой выбор я вершил.

И дело тут не в датах,
не в слоге, не в словах –
так совместились
судьбы, деревья и трава.

И, не дождавшись даже
намёка на зарю,
безвестен и беспечен,
себе я говорю:
о муках слова много смололи чепухи.
Легко из дней тяжёлых
слагаются стихи.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

В этом доме
пиликают стёртые скрипки,
и рояли разбито бренчат,
как трамваи.
Здесь гармонии грубы,
мелодии хлипки.
А в округе
все жители
слух и терпенье давно надорвали.

И кишат на крутых этажах,
и кружат, и кричат, и бранятся
здесь, в преддверии музыки,
тут, в прихожей у муз...

Дальше их не пропустят,
да и сами они не стремятся —
не для них груз открытий
и славы, и творчества груз.

Поколения маленьких варваров,
терзающих инструменты,
продираются ордами
через ад этот сущий,
чтобы, может быть, где-то в отсеке столетий
мелькнул искромётным моментом
лишь один удивлённый талант,
удивление людям несущий.

ЗВЁЗДЫ

Развращённые славой,
разобщённые спесью,
отягчённые чванством,
улёщённые лестью,
знаменитости,
кино-теле-радиозвёзды –
загораются рано,
гаснут дымно и поздно.

О, шутихи удач,
славы звонкая вспышка!
Ярок кожаный мяч,
но внутри-то –
пустышка.

О, стихия страстей!
Вой хоккейных баталий,
не мудрёней костей
домино на бульваре.

И напыщенность поз,
и увенчанность лавром...
Чем пышнее курьёз,
тем отрадней литаврам.

Знаменитости ходят,
не сходя с пьедесталов.
Звук шагов: ну, точь-в-точь
домино простучало.

ИСКУССТВО

На охоту за каждым изгибом мысли,
за новой рифмой и новым размером
под землю и в выси
выхожу
и в невозможное верую.
Бесконечность дней, часов, минут и столетий,
пестрота форм земных и небесных –
всё, что бесцветно или цветёт
в самом ярком цвете,
жизнь обретает
в песне!
Мозг, словно воды ручья,
отражает
и вносит своё добавление.
Нет в нём косности зеркала,
он, как волна,
в изгибе которой всегда искажение
и всегда красота берегов видна.

Нужно слово хватать, как рыбу,
что поймана и вертится на тонкой леске, –
пусть на руках останутся порезы и ушибы,
на них останутся ещё живых чешуек блёстки!

В чём секрет искусства?
В овладении материалом,
в смелости выбора темы и формы.

Искусство начинается в самом малом —
в слове,
поставленном не так,
как привыкли ставить с детских пор мы.

И это не «выверт», не «дань формализму»,
это путь заставить
стать явью невидимку:
то, что ускользает в обыденной жизни,
обретает плоть свою
идти с тобой в обнимку.

* * *

Всё больше красок впитывает взор,
всё больше плоти и бесплотных линий.
Мир сделался похожим на костёр,
и я горю в пылающей пучине.

Свистят и хлещут языки огня,
жестокость красоты не знает края.
Ожог и боль проходят сквозь меня,
лечу в огонь, и радуюсь, сгорая.

XI. *Вся жизнь*



* * *

Всё глубже погружаюсь в годы,
всё ближе илистое дно.
Там, где ни ходу нет, ни броду,
мне тоже илом стать дано.

Не от того, что сердце ропщет,
не потому, что свет не мил,
я просто по судьбе всеобщей
вольюсь в первоосновный ил.

Осяду медленной частицей
во тьму таких, как я частиц,
и даже всплеска не случится
меж безднами сердец и лиц.

Уйду в безвременность пластовый,
где средь сгоревших душ и дел –
пределы круговертей крови
и беспредельностей предел.

ВО ДНИ ПЕЧАЛИ

Вот что свершили надо мной
во дни моей печали:
меня обмазали смолой
и в перьях изваляли.

Венец капустный на чело
и кочерыжку в руку...
Мутиться небо начало
от гогота и хрюка.

Но так печаль была сильна,
так ныло в межребёрье,
что промелькнули вроде сна
смола и брань, и перья...

ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА

Я встретился вчера с самим собой
и не узнал себя, в себя взглядевшись.

Лицо мне показалось вдруг чужим –
в глазах тревожно тлела умудрённость,
которой раньше я не ведал,
спрямило губы знание,
и пропилила лоб занозистая мысль.

Как я вселился в незнакомый облик?
Что за пути потайные прошёл?

Я медленно провёл ладонью
по незнакомому плечу в моей рубашке...
И токи беспокойных скрытых сил
меня кольнули зло и отчуждённо.

Я начал понимать:
всё то, что раньше проходило мимо,
что было достоянием других,
а мной
не принималось,
отвергалось,
пришло ко мне и захватило
рассудок мой и сердце.

И вот я не могу себя узнать.

Я начал понимать:
у сердца есть своя неведомая жизнь,
свои законы, которые в сознание входят,
когда уже свершились
и овладели полностью тобой.

Я весь другой –
и помыслом, и сердцем,
но сам к себе, другому, не привык.

О, теснота словес неизречённых
и стиснутость невыплеснутых сил!

Казалось бы, не вовремя,
когда определилось всё и устоялось,
когда себя знакомым стал считать –
всё сломано,
всё снова начинать!

Как труден перелом,
когда встречаешь
среди жизни незнакомого себя!

* * *

Тянусь я несмело
судьбой небольшой
к друзьям
с оробелой
и слабой душой.

Есть люди-плакаты,
до них не достать.
Мы жизнью помяты,
крива наша стать.

Живём понемногу –
работа да дом.
Мы ходим не в ногу,
поём не о том.

О нас не составят
надгробных томов.
Пускай лишь оставят
работу и кров.

Не нам разбираться,
кто мал, кто велик,
и хруст ассигнаций
нужнее ли книг.

* * *

Этот берег..
Деревья, кусты и река.
Только корни реки
уходили в века
и питались не каплями талой воды,
а вбирали судеб затаённых
следы.

Бурлаки приложили печати лаптей,
рыбаки замахнули туманом сетей.
Цепь из вмятин босых
через вымокший ил
кто-то в омут закинул
и там позабыл.
И горящая нефть
языком ледяным
города облизала и сдула, как дым.

...Пластовался закат,
и дымилась звезда
там,
где зыбко и зябко дрожала вода.

Когда душа переболеет
и сердце выболит до дна —
добрей становимся и злее,
и суть судеб ясней видна.

Та доброта под стать вхождению
в другие души и сердца.
Она включается в их звенья,
чтоб зло и злобу отрицать.

И злость от этого острее,
и жёстче жало мудрых глаз.

Как доброта и злоба зреют,
когда страданье гложет нас!

Доверьтесь незнакомым,
неизвестным,
невиденным,
неслышанным,
вон тем,
кто не бывал и рядом с вашим домом,
кто никогда не видел вас совсем.

Не ждите ничего.
Пусть гложет
печаль.
И кто-то,
как из-под воды,
придёт из неизвестности,
поможет,
и в неизвестность уведут следы.

* * *

Так смотрят на огонь и воду:
бесцельно, бескорыстно,
просто так.
Не хочешь пить,
согрет,
но будто сроду
не видел волн
и пламени сквозь мрак.

Одно и то ж,
до дна однообразье,
до пепла, до безжизненной золы,
и всё же
глазу,
как великий праздник —
томящий свет и тёмные валы.

У глаза радость есть
перебирать, как чётки,
оттенки, высветы и отсветы воды,
рисунок искр,
стремительный и чёткий,
когда смола от пламени гудит.

Есть радость
видеть мир.
Великою стихией
бесцельно, ни за чем глаза твои полны.
Не должен ей ни капли, ни крохи,
и сам не нужен ей,
и в этом
вы равны.

ЕГИПТЯНИН

Взгляну и неожиданно поблазнится мне
в сегодняшнем дне время оно.
Египетский профиль кота на окне,
как восточка от фараона.

Ни лапой, ни усом не двинет, отлит
из каменных тысячелетий,
и лунный зрачок
из глубин пирамид
сквозь время стеклянное светит.

* * *

Из пряжи времён и просторов
сотканы судьбы людей.
Времён и просторов норов,
чем дальше, тем круче и злей.

Свиваются годы и вёрсты
в узлы трудных встреч и разлук,
смыкается больно и остро
вкруг сердца их яростный круг.

Не вырваться —
узел затянут;
не выбраться —
пряжа крепка!

...И только в дали берестяной
привольно плывут облака.

* * *

Не жалей о сделанном,
не тужи о прошлом.
Прогоревшие дрова
деревом не станут,
листьев не распустят.

Самый жалкий человек,
самый безнадёжный,
кто терзается:
«Ах,
тот цветок не сорван,
что зацвёл на заре
прошлогодним утром...»

* * *

В тягучей тине бытия
событий не избыть.
И мы, надежду затая,
из тины тянем нить.

Глубоко ноги увязив,
всё ж видим неба ясь.
Через муть житейскую в грязи
блеснёт и нам карась!

Не всем орлиный дан полёт,
но всем дан солнца лик.
Споёт и нам среди болот
в кочкарнике кулик!

Сдают любимцев муз в музей.
Безвестье нам дано.
И есть отрада меж друзей
без чванства и чинов.

Отмерив годы в бытии,
уйдём в небытие.
Пока ж потянем нити и
соткём из них житьё.

ДЛЯ СОВЕТА С ДОЖДЁМ...

Приоткроем окно,
впустим дождь, пустим ветер
и шлепки мокрых листьев
к себе позовём.

Кто нуждается
в медленном мудром совете,
обойтись не сумеет
без совета с дождём.

Соберёмся в дорогу.
Погрузим в котомку сомненья
и по снежной равнине
под волчий отправимся вой.
Путь мудрей мудрецов.
Тот, кто жаждет прозренья,
не преминет прибегнуть
к белизне снеговой.

Приурочим к весне
окончанье кочевья,
водопольем отмоем коросту забот.
Сок весенней травы
и взбодрённых деревьев
первозданную свежесть
измотанной жизни вернёт.

Мы пройдем через время,
как путник идёт сквозь просторы:

через лето и осень
к зиме и весне подойдём.
Приоткроем окно,
сдёрнем боль, тревожнения,
шторы и шоры
для совета
с ветрами,
судьбой
и дождём.

* * *

Восход, закат ли – равно медны.
Едино: сеятель и жнец.
Мой каждый день –
как бы последний,
и каждый миг – как бы конец.
И вдох так к выдоху прижало,
что бытие
в небытие
своё протягивает жало
и время горькое своё.

ПОУЧЕНИЕ

Не верь любящим тебя.
Не тебя они любят,
они любят
ими же придуманное
и тебе приписанное совершенство.

И пока им кажется,
что это совершенство – ты,
они ставят тебя в пример,
ловят твои слова,
преклоняются, восхищаются:
«Есть же на свете люди!»

Но стоит тебе повернуть свою судьбу
по-своему,
поступить не так, как хотелось бы им, –
горе тебе.
Сила любви
превращается в ненависть,
а ты
из ангела преображаешься в беса.

Отныне ты – разрушитель, злодей и преступник.
Вместо патоки тебя поливают помоями,
свет обращается в тьму,
истина – в ложь,
идеальность – в уродство.

Не позволяй себя любить,
отгоняй слова умиления,
не потакай восхищенью.

Крутым поворотом судьбы
проверяй тех, кто рядом с тобой.

* * *

За благо – всем благодаренье.
Поклон заре за озаренье.
Волну привечу за волненье,
и мир за умиротворенье,
стихию за стихотворенье,
и белый свет за просветленье.
Пусть дарит зрение прозренье,
и радость привезёт везенье...

А как же тьма и миг затмения?
НИЧТО и мрак уничтоженья?..

Вот череп. Сквозь него – трава.
Нагнись.
Для этой встречи не нужны слова,
лишь пригибайся, опускайся вниз.

Пусть будет тишина,
пусть будет зной,
ты,
ухо приложив к дыре на лбу,
как в раковине, брошенной волной,
услышать должен про его судьбу.

За частоколом стиснутых зубов
ещё живёт и вздох, и смех, и гнев,
и тяжесть слов,
перед которой сникнешь, оробев.

Послушай:
музыка. Он музыкантом был!
Пульс молота – он был рабочим.
Дрожь трав – он их в лугах косил,
губ шёпот – слушал среди ночи...

Возможно всё,
но разве тут нужна
догадка о судьбе, оборванной когда-то?
Ведь ясно – здесь была война,
он был солдатом.

* * *

Почаще делайте, как хочется,
живите без оглядки чаще.
Желанья, как деревья в рощице:
начнёшь рубить – не станет чащи.

Побольше безрассудства!
Радости
насквозь и напрочь безрассудны!
Где шкипер не шалел от ярости –
на рифах погибало судно!

Жить без расчёта, жить, как хочется, –
пусть год и миг равны, как глыбы,
чтоб в чашу превращалась рощица,
суда сквозь рифы плыть могли бы.

* * *

Жизнь пчёл,
жизнь ос,
жизнь тощих насекомых,
жизнь в трепетной траве,
жизнь, пьющая нектар,
жизнь в солнечных лучах,
жизнь в праздничной истоме,
жизнь быстротечная,
жизнь зыбкая, как пар.

ЗЛЫДНИ

Тот город
злыднями напичкан,
и залит злобою
до крыш.
Едва завидит злыдень птичку,
орёт своё дурное:
«Кышь!»

Чуть кто-то приоткроет ставни,
едва допустит в душу луч,
находят злыдни
в Злом Уставе
закон,
что злее злыдня злюч:
– Не видеть.
– Не светить.
– Не думать.
– Не быть.
– Не мочь.
– Не петь.
– Не греть.
Для них и жизнь,
как смерть угрюма.
Ведь суть закона злыдней –
СМЕРТЬ.

ПРИТЧА О ПРАЗДНИКЕ

Поздравления с праздниками.
Угощения пряниками.

Гостеванья да подарочки.
Собиралися товарочки.

В пенно-бражные кружалищи
грудились друзья-товарищи.

Старички-старушки шамкали,
чай зажёвывали жамками.

Нежны детки-малолеточки
мяли-муслили конфеточки...

И смотрела с неба, зыркала,
генеральским пальцем тыркала,
всем и каждому пригодная
Смерть уродно-водородная.

ЖИЗНЬ

Она, словно ком нутряного довольства,
избытка природного яростный ком,
дородство несёт,
как кувшин деторождения,
налитый тяжёлым тугим молоком.

Плоды всей земли –
дыни, грозди бананов,
картофеля клубни
и яблочка бока –
повторы, подобия линии стана
и крепкого вкуса её молока.

В пещерах и гнёздах, и глинистых норах
детёныши
жадною жизнью живут –
в них зреет и крепнет
ухватистый норик –
созреть и уйти из родительских пут.

Уйти к вечной жажде зверья и растений,
немолкнувшей жажде плодящих плодов –
плодиться,
приплоды нести
через время,
кувшин деторождения –
сквозь чашу миров!

НАДЕЖДА

Когда кукушка откукует
сто раз
и проживёшь сто лет,
и не помянут даже все,
и всё, что написал, – в столе...

Ты,
сетуя, что не издали,
откроешь форточки глазок
и станешь ждать:
а вдруг
из далей
кукукнется ещё разок?..

ИНОГДА

Иногда
среди житейщины, растянувшейся на месяцы,
задёрганный и замордованный всепоедающими
мелочами,
бежишь куда-то по какому-то нуднейшему поводу,
и тут
будто некий чудодей вставляет тебе новые глаза,
и ты словно впервые видишь –
эти странные каменные и стеклянные плоскости,
поднятые к яркому небу;
блестящие, непонятно как передвигающиеся
по накатанным поверхностям штуки;
удивительных существ,
идущих навстречу,
плавно и точно несущих свои замечательные
тела и головы, и глаза,
в которых угадывается неведомый мир;
видишь ослепительный шар, висящий в синеве,
чувствуешь тепло, исходящее от него,
свет, отражённый в мириадах зелёных чешуек,
унизавших кривые и корявые стебли
каких-то странных растений.
Ты не знаешь
как всё это называется,
ты увидел этот мир в первый раз,
увидел новыми глазами,
увидел без слов
и удивился ему.

И захотелось проникнуть в него,
пожить в нём,
научиться его словам,
понять его немыслимую гармонию...

Но чудодей отбирает у тебя ведовские глаза.

И ты вспоминаешь о нудном поводе,
по которому надо куда-то спешить
под едким забензиненным солнцем,
мимо этих примелькавшихся домов,
автомобилей, прохожих и пыльных деревьев.

* * *

Мир закоулков привокзальных
залузган мусором дорог,
замызган вёрстами, засален,
исхлёстан вдоль и поперёк.

Вокзал,
дрожа, как алкоголик,
в сыром карболочном пару,
мытарств и странствий хмурый облик
рисует
дымом на ветру.

ЗЛО

Так рождается зло.
Начинает клубиться в мозгу
клок слепого тумана.
Диск безумной пилы
начинает вращаться.
Загорается злая звезда,
и лучи её жёсткие
бьют по вселенной,
заключённой под черепом нашим.

Застилает туманом глаза.
Позабыто всё доброе,
всё, что цвело, веселило и пело.
Радость сердца уходит ко дну, захлебнувшись.
И зловещие птицы
гасят чёрным крылом
проблеск добрых надежд.

А пила своим диском клыкатым
режет нежные нити,
что с прошлым сплели наше сердце,
валит дерево дружбы
и кольца любви рассекает.

Ничего не осталось –
лишь бешено скачущий диск
и обрывки привязанностей,
и опилки деревьев,
что так долго и мудро
мы растили когда-то.

Вот тогда возникает
вселенная зла
с мрачным,
вязко чадающим светилом.
Смоляные лучи
просекают наш мир.
Чёрным варом
обварена совесть.
Память выжжена.
Пепел надежд завивает иссушенный ветер.

И среди этой серой пустыни
ты, как странник,
изгнавший себя
из приветливых, светлых просторов,
отрешённо влачишь своё бремя.

И горит смоляное светило
над иссечённым злобою лбом.

ТАЙНАЯ ПРУЖИНА

Это что ж за скука, право!
Скука слева,
скука справа,
скука в прошлом,
скука впрок,
скука вдоль и поперёк!

Скисли мысли,
сникли звуки
в паутине пыльной скуки.

Кто б поверил ей заглазно,
что она – многообразна,
и показывает нрав,
скуку скукою поправ;
что в пошлейшей из ужимок –
её тайная пружина:
скука выгнулась лозой,
зазывая в мезозой,
скука, скверно щурясь, щерясь,
позвала пожить в пещере...

Скука «от» и скука «до»
завила в пивной гнездо.
Скука «до» и скука «от»
очумела от наркот...

Боже,
как она лукава –
скука слева, скука справа!

* * *

Большой нелепый город
по берегу вразброс.
Он прѳсвистом пропорот
и прѳдымью пророс.

Он враслопырку скачет
в овраг и на увал.
Кварталы раскорячив,
он свалки в них умял.

Наторкал огороды,
натыркал дыр и ям.
В затурканной природе
он – как сплошной изъян.

И пыль его и копоть,
цвет сажи и свинца
ползут, чтоб душу слопать
и высосать сердца.

Так почему же тянет
уживчивых людей
с округи берестяной
к его крутой страде?

ЛИЦО НАШЕЙ ИНДУСТРИИ

1

Железные и урановые рудники,
нефтяные промыслы, угольные шахты,
обоганительные фабрики,
цементные и химические заводы,
металлургические комбинаты,
домны, градирни, конверторы,
электростанции,
железные дороги, авиалинии.
Сталь, прокат, цемент, железобетон,
кокс, руда, уголь, бензин, газ,
уран, дейтерий, пластмассы,
алюминий, титан, сплавы, алмазы...

2

Межконтинентальные баллистические ракеты,
спутники, бомбардировщики, истребители,
штурмовики,
авианосцы, ракетноносцы, крейсера,
атомные подводные лодки,
танки, бронетранспортёры,
пушки, пулемёты, автоматы, пистолеты,
электронные приборы,
взрывчатые вещества,
отравляющие вещества,
бактериологическое оружие:

штаммы сибирской язвы,
бубонной чумы, холеры, тифа...
Подземные шахты для ракет, склады, убежища,
командные пункты,
бетонированные укрепления,
военные порты, аэродромы, полигоны,
танкодромы, ракетодомы...

3

Жалкое жильё, переполненные тюрьмы,
перегруженные больницы, иноземный хлеб,
устаревшие лекарства,
изуродованные цензурой книги,
обилие болезней и недугов...

ДАР ОГРАНИЧЕНИЯ

Слепые видят суть.
Личиной не отвлечь их.
Они свой свет несут
оценок человеческих.

Для нас
на сотни искр
обличье расколосось.
Для них
за ним — лишь смысл,
один лишь голый голос.

Услышат и тотчас
им ясно всё, что прячем;
и бьют не в бровь, а в глаз
провиденьем незрячим.

Их слух так изощрён,
что только по дрожанью
даёт оценку он
и лжи, и подражанью.

Чувствовалище души —
лицо их и вся кожа.
Рок,
зренье потушив,
прозрение умножил.

ШЕСТЬДЕСЯТ МИГОВ

Мне было весело и просто,
я тратил жизнь
на пустяки.
И в шестьдесят
был, как подросток,
сам лёгок и шаги легки.

Нёс годы каменных печалей
с упорным злом двужильных кляч.
Но тяжести
не отягчали,
а оттеняли миг удач.

Безвестность по пятам ходила,
был в сердце кол, а в горле ком.
Опасть бы плодородным илом
для тех, кто вырастет потом;
стать строчкой в бесконечной книге,
пылинкой дня,
песчинкой дна...

Я знал всегда,
что радость — в миге,
а жизнь из мигов сплетена.

ГОРЕ

Есть горе слёзное,
навзрыд,
сзывающее на подмогу,
оно в окно и в дверь стучит,
рвёт волосы
и бьёт тревогу.

Есть горе страшное,
молчком,
когда виски руками сжаты
и седина косым клоком —
за ночь бессонную расплата.

Есть горе тихое, как грусть,
есть горе дерзкое, как смелость.
Я знаю горе наизусть.
Чтоб знала ты — мне не хотелось.

* * *

Перехожена земля,
перетоптана,
не найдётся без следов, и закраина,
из дорог и тропинок соткана,
трактом скована,
шоссейной лентой спаяна.

Задохнуться,
запутаться,
загинуть,
потеряться безликостью безвестной.

И вонзится напоследок в спину
кем-то найденная
новая
песня.

ВЫБОР

Рисунок веток яблонь —
изломы и углы.
Но сами-то деревья —
спокойны и круглы.

Поставьте стол и лавки,
соседей пригласив,
под яблоней рассядьтесь
в виду созревших нив,
и мудрость проявите —
задача нелегка:
избрать округлось мира
иль прямизну штыка.

* * *

Засилье болтунов,
заядлость болтовни,
завзятость прихлебал,
хлебавших искони
болтушку слов пустых
для жирного застолья
и извлекавших куш
из кущей пустословья.

Словесной суеты бесчестные приёмы –
зигзаг обходных троп на Высшие Приёмы.

И выпранный почёт,
и эта важность жабья.
Ждут: нечет или чёт?..
А доля равно рабья.

Они всю жизнь, как бы
в орлянку проиграли.
Отвратней нет судьбы.
И горше нет печали.

СРЕТЕНЬЕ

«Ворочалась надясь от обедни,
ластил сердце блаженный елей:
синтетицкий исподник намедни
подарил мне внучонок Сергей.
Так-то тёпло, и для ишаасу
очень даже полезна синте...
не умолвишь.
Ну, доброго часу,
Матерь Божья, Иисусе Христе!».

Было Сретенье. Птахи свистали,
да коровы скучали в хлевах,
да сырые сосульки свисали,
и дымился по закутям прах.

А над маковкой Божьего храма,
за сплетением голых ветвей
небо надвое трассой разламывал
сын дочернин, внучонок Сергей.

КОЕ-ЧТО ОБ ИСТИНЕ

Повторяют прописи
дети и студенты,
пропись многословная – удел профессоров.
Истины расхожие на манер цемента
заполняют полости сердца и голов.

В путанице жизни,
в этом спорном мире
все же есть
бесспорное до конца годин,
что-то есть такое, как «дважды два-четыре»,
как «автомобили кушают бензин».

Вечна и незыблема
мудрость прописная,
всюду всеми признана,
везде утверждена.
Еву и Адама
Бог
не выгнал бы из рая,
если б ограждала их
прописей стена.

«Дважды два – четыре» –
соблюдайте свято,
вознесёт вас этот принцип до небес.

Мудрствуйте, лукавьте,
разрушайте атом,
но
не нарушайте
прописных словес.

МЕРА СЧАСТЬЯ

Витьё подёнок,
перевить вечерняя
лучей и сучьев, и ручьёв, и рук...

У праздничного этого сплетения
перенимай весеннюю игру:
вот сердце,
это птица,
это дерево —
с лучами и с подёнками их свей.

И если меряют счастье,
ты измерь его
весенней мерой соков и ветвей.

КОРОБ

В невидимом коробе за спиной
незаметно копятя дни, месяцы, годы.
Короб тяжелеет и всё ниже пригибает тебя
к земле.

Но он невидим,
и ты, как всегда, веришь:
лучшее дело твоё впереди.

«Вот возьмусь когда-нибудь
и придумаю такое, чего никогда не бывало,
что осчастливит мир,
станет радостью человечества!
Вот примусь и воздвигну памятник Времени!
Надо только отрешиться от суеты и мелочей,
выбрать часок, взяться, приняться, сесть...
Всё почти готово, всё в голове...».

И намеренье это, молодое, весеннее,
живёт в душе, веселит.

А невидимый короб за спиной
всё полнится днями, годами, десятилетиями.

И ведь совсем немного надо,
чтоб придумать или воздвигнуть.

Надо
не «когда-нибудь» –
сейчас, тотчас придумывать и воздвигать.
Потому что «когда-нибудь» значит никогда.

А невидимый короб
с каждой минутой
всё тяжелей.

КРУГ СОБЫТИЙ

Пророку подобает камнями быть побиту.
Красавица страдает, прикована к корыту.
Учёный в копиях рубит свой философский камень.
Невежда знание губит, нажитое веками.

Пророк пребудет вечно, раз пострадав за веру.
Красавицу беспечно забудут изуверы.
А философский камень для мостовых сгодится,
чтоб без калош невежда мог в дождик обходиться.

* * *

Когда поймётся: больше не могу,
оставлю всё
и прыгну в лодку,
и оттолкнусь от берега,
оставив на лугу
лишь след в траве,
чуть видный и нечёткий.

А на воде не будет
ни следов,
ни вмятин пальцев,
ничего не будет.
И ломким оловом белёсых берегов
всё прошлое река полудит.

Забвение туманов и росы.
Прозрачное речное равнодушие.
Здесь жизнь
и смерть
положишь на весы —
не дрогнут чаши, скованные глушью.

ПРЕДЕЛ СУДЕБ
(сказ)

Тягуче действо деревенских похорон.

Ещё во тьме.

Продрогший дом.

И двери нежило отверсты настежь.

Там – усопший.

Он занял всё пространство целиком,

он здесь один,

торжественен и строг,

и отрешён

от заведённых им самим порядков:

печь холодна, не ужинали, не готовят завтрак,

на верстаке забыты инструменты,

в сенях – вразброс (такие по ноге! удобные такие!) сапоги.

Он сам создал свой мир

и сам его разрушил.

И вот готов к последнему пути.

И вот вокруг нелепая и нежилая жизнь.

1

В предсветной мути

чёрные старухи

теньями кособокими проскальзывают в дом,

неслышным шепотком, кивком невидным
хозяйку осуждают,
де,
не наняла монашку почитать псалтырь,
нет свечек тонких, освещённых в церкви,
нет образа, не зажжена лампада...

Хозяйка притулилась в уголку –
из тёмного платка выглядывает нос.
И все теперь узнали:
вся ее сила, стать и властность –
всё не её,
всё от него,
всё с ним ушло.
Она теперь пуста,
она была пуста,
всегда пуста...

2

Тягуче действо деревенских похорон.

Рассвет
баском автомобильным фыркнул за окном.
Вошёл племянник, распугал старух
(тенями кособоками скользнули
за дверь, распахнутую в нежилое утро).
Слова племянника о деле,
о деле долгих деревенских похорон:
кого везти копать могилу
(две поллитровки, чтоб погреться –

сегодня утро с инеем, земля промёрзла),
кого послать за ёлками,
кто грузовик украсит
и где материю достать для украшения,
кто привезёт оркестр,
и хватит ли вина к поминовению...
Всё рассказал, распределил
и по делам печальным уехал сам.

3

А вместе с солнцем,
неживым, как будто нарисованным на небе,
пришли к усопшему проститься люди.

Пришёл, как бы случайно, мимоходом,
из дальней деревеньки пчеловод.
Он был в разбитых валенках
и новом, неношенном, на вате пиджаке.
Встал на пороге,
справился, когда и как скончался,
и во сколько вынос.
Ещё спросил, куда бы положить стамеску –
брал у покойного и не успел вернуть...

В дверях уже стоят другие –
работали когда-то вместе и воевали,
и вот пришли в последний раз.
Толкуются на пороге,
не решаясь увидеть его,
живущего в их памяти,

где живы и голос, и слова, и дело,
не решаясь последним взглядом
разрушить этот образ свой живой.

Потом пришла соседка
с пятилетней внучкой.
— Зачем же девочку? Не надо!
— Пушай посмотрит.
— Нельзя смотреть ей! Не води, не надо!

4

И девочка осталась у крыльца,
нашла последнюю ромашку,
цветочек, уцелевший после первого мороза.
И куколку достала из-под шубки,
и ей ромашку прикрепила к платью,
и засмеялась радостно и чисто.
И в тишине, где поселился шёпот,
смех этот прозвучал напоминаньем,
что жизнь не кончена,
что жизнь лишь начата,
что осени последняя ромашка
пришла к ребёнку радостью и дивом.

5

Тягуче действо деревенских похорон.

Тут рядом, в сумрачных сенях
два родственника мрачноватых,

запрятав под очки усохшие глаза,
на крышку гроба набивают
крест из серебряной фольги
и пальмовые листья.
Неумелы их пальцы, нелюдимо дело,
непонятен, но нужен этот крест
и эти листья из яркой переливчатой фольги.

Кому он нужен?
Им?.. Ему?..
Кому же?
Но так велит обычай, так всегда...
И ныне – без иконы, без свечек и лампад,
неверующий крест свой получает.
Зачем же крест ему?..
Быть может, это символ
всего, что перечёркнуто навек.

6

Молоденькая внучка усопшего
уж третий день не может удержать саднящих слёз.
Распухли щёки, веки воспалились.
И вспоминает, вспоминает, вспоминает
последние распоряженья деда,
последние, но твердые слова:
«Готовьтесь-ко теперь к похоронам».
– Да что ты, дед, к каким похоронам?
«Готовьтесь».
Закажите оркестр.
Для гроба доски возьмите под навесом –

там сухие, для ульев припасал я.
Не печальтесь. Всему есть свой черёд.
Блины пеките и кутью готовьте –
меня здесь знают все, и все придут ко мне».

Она не знала смерти, дед был вечен,
он был всегда, как помнила себя,
как помнила весь этот добрый мир.
И вот слова, спокойные слова
о собственных похоронах...

– Не надо, дед, не говори так!
Ведь ты ещё позавчера
пришёл с работы
и, как всегда, обедал и рассказывал,
что встретил фронтового друга,
что вспоминал с ним
бои в Восточной Пруссии,
военные дороги...
Ты выжил на войне,
ну, как ты можешь
сейчас такие страшные слова...

«Я говорю – ты слушай.
Не страшно ничего. Я всё видал.
О деле слушай:
пчёл продайте, вам с ними не управиться.
Дом требует ремонта –
материал и деньги я собрал.
Ветлу, что с краю огорода, –
спилите – застит свет, мешает огурцам.

И напоследок:
...когда родится у тебя мой правнук,
так это...
именем моим и назови...».

О детях собственных она не помышляла,
сама ещё вчера была ребёнком.
Так, значит, у неё родится сын!
Родится сын...
Родится у неё.

И дедовы слова
открыли ей
всю взрослость её лет
и место
в ряду родни,
и в продолженьи рода,
участие её в грядущих судьбах...

И вот стоит под ветром на крыльце,
и слушает смех девочки соседской.
Игра и кукла, и ромашка,
и непричастность к жалящей печали
так странны здесь
и так сильны напоминаньем,
что мёртвые уходят,
а живые остаются.

7

Тягуче действо деревенских похорон.

К ограде подогнали грузовик
и ветками еловыми укрыли,
и красное полотнище, и креп
к опущенным бортам кой-как прибили.

Для жизни долгой долго строят дом,
для смерти домовину лепят наспех.
Для жизни украшение – серебро,
для смерти – жёсть и жалкая фольга.

Перед забором собирается толпа.
Кто дань последнюю умершему отдать,
кто поглазеть,
кто, мимоходом проходя, невольно встал.

А в доме –
там последний миг.
Сейчас поднимут, унесут навек
из дома и из мира.

Сестра усопшего
всем, кто нести согласен,
даёт на память белые платочки –
их на рукав повязывают левый.
Таков обычай.

Тягуче действо деревенских похорон.

Уж кажется – не утро миновало,
а целый год с рассвета протянулся.
Не полдень – середина целой жизни.

И только вместо солнца –
холодное и плоское пятно.

И всё ж тягучей тягости и боли
конец приходит, как всему на свете.
Но перед этим тягостным концом
вся тяжесть, тягость и томленье
сгущаются в огромный тяжкий ком.

8

Гроб поднимают.
Как он неподъёмен!
Как будто сам усопший
не хочет покидать родное место.
Его уносят, будто бы насильно.
Его уносят навсегда.
И слово навсегда
встаёт здесь в полный рост
и заслоняет все прочие слова.
– Несут!
– Несут!
– Несут!
Сгущается толпа у дома.

Недвижны люди,
и глаза недвижны.
Недвижно солнце,
неподвижен воздух,
застыло небо, ветки недвижимы.
И даже гроб несущие – стоят.

И только гроб с усопшим
передвигается
из двери по крыльцу,
и по дорожке, и – к калитке...

А за калиткой –
первая большая остановка.
На табуретки водрузить его хотят.
И, оказавшись, тут как тут старушка,
приказывает звонким шепотком:
– Не сразу опускайте-то, не сразу!
Положено – чуть опустив, поднять
и снова опустить,
и так проделать трижды,
и только после уж поставить.

Поставили.
И хрипло грянул
оркестр из двух басов, двух флейт и барабана.
И эти звуки режут душу.
И слух уже не в силах
их выносить – так тяжесть велика.

Тягуче действо деревенских похорон.

9

По улице несут, по серой пыли,
вдоль серых изб, домов, заборов.
Сначала целая толпа,
затем людей всё меньше, меньше...
И вот остались только родственники да друзья.

А улица всё длится, длится, длится,
всё тянется вдоль ледяной реки
по плоским, пыльным убранным полям.
Как будто бы однообразье жизни
и скучные, и скученные дни –
всё скучилось на этих трёх верстах
от дома и до кладбища.
И грузовик
без надобности ехал в отдаленье –
оставшиеся люди не хотели
доверить тяжесть горькую машине.

10

Пред покосившейся оградой деревянной,
у почерневших от дождей ворот
гроб ставят.
И надрывно пронзает уши и сердца оркестр.

И вот несут по кладбищу.
Так тесно от могил, оград, от памятников,
от крестов,
так узки проходы,

сплошь забитые бурьяном,
так путь извилист, и запутан ход,
что кто-то уже высказал сомненье –
не заблудились ли средь кладбища со гробом...
Ещё им не хватало заблудиться
с печальной этой ношей на руках...
– Нет, нет, не заблудились. Так идти. –
племянник говорит.
Несут, несут, несут – и нет ещё конца,
и стёртые до крови плечи
почти кричат, об отдыхе мечтая.

Тягуче действо деревенских похорон.

11

И вот прощанье
на тесном промежутке между оград и кучами земли.
Вдовицы плач
и крик старух,
и голос печальницы-синицы на кусте.
И слова прощанья,
которые сказал старинный друг.

Вся жизнь прошла
за этой речью безыскусной –
и встал в сознание образ,
как символ всех судеб.
И люди подивились,
что среди них жил столько испытавший человек.

В минуту эту
сама История
склонилась над ними и над ним,
и явственно её дыхание было.

12

И вот уж опускают
из времени в безвременность,
из мира в мир иной.
И бросают горсти
суглинистой, на пепел похожей
скудной северной земли.
Потом скребут лопаты
и медленно с землёй ровняют яму.

И холмик поднялся.
И кто-то вздумал
прихлопнуть насыпь рыхлую лопатой.
– Нельзя, нельзя! –
старуха подошла, –
земля сама осядет, как захочет,
земле мешать не надо...
Она должна быть пухом...

И уж кутью дают –
с изюмом рис –
и по блину, и стопку,
чтоб тут же помянули
того, кому уж боле не вкусить
земные яства
и не видеть солнца.

И тут вдруг понимаешь –
это суть,
без коей нет живого на земле:
еда и солнце.

Тут понимаешь вдруг всей кожей, всем нутром,
что жизнь проста,
как зёрна,
жизнь ясна, как солнце, –
вот был, и вот не стало человека.

И жизнь сложна
неведомою сутью,
когда зерно дарует жизнь,
когда меж был и нет
вмещается бесщётность всех выгибов судьбы,
всех радостей и всех печалей,
бесщётность всех рождений и смертей...

Тягуче действо деревенских похорон,
но и оно кончается, как всё на свете.

XII. Домашние
дисциплины



ВЕЛИКИЙ ПРОФЕССОР

(песня)

По мути научной в научную жуть
мы долго блуждали в потёмках,
Пока нас не вывел на праведный путь
Великий профессор Потёмкин.

Мы шли по науке без всяких наук,
Наук о науке не зная,
Был страшен наук заколдованный круг
И бездна науки без края.

Профессор взлетел, словно горный орёл,
Взошёл, будто ясное солнце,
Он мощный прожектор Науки навёл
В убогое наше оконце.

Мы пива не пьём, не едим больше щей,
Забыли совсем об обеде –
Под флагом его выдающих идей
Идём от победы к победе!

ЮБИЛЕЙНЫЙ САМОГОН

Из предисловий-славословий
варю елей на юбилей.
«Сова Минервы», покрик совий
зовёт подмешивать щедрей.

«Рождение гения» без Гени
свершиться, право ж, не могло б.
Как не сказать, что Геня – гений,
чтоб круче заварить сироп!

«Социологию науки»
с елеем смешиваю вновь,
беру в трясущиеся руки
«Тебя, как первую любовь»...

Обилие духовной пищи
всех жанров, стилей и сторон!
Прими же, старый мой дружище,
сей юбилейный самогон!

МОЙ НОВЫЙ ДОКТОР

Бывало – схватит поясницу –
бегу за доктором в больницу.
И если в зубе засвербит –
на доктора имею вид.
И даже в случае желудка
советы доктора – не шутка.

Но вот пришла ко мне пора –
не помогают доктора.
Знать, в докторях тех мало толку.
Одна надежда – доктор Волков.
Он даст совет: от поясницы –
рассол селёдочной горчицы.

Он посоветует от зуба –
настойку перца или дуба.
А что касается желудка –
поможет силою рассудка.
Затем он несколько игриво
расскажет мне о пользе пива.
И чистый взор потупя кротко,
распишет перечную водку.
А после, не без огонька,
охватит тему коньяка...

Мне полегшало. Он таковский,
мой новый доктор философский!

ЛЕЙЛА

Всегда прислушиваюсь к Лейле.
Она строга: ты воду лей ли,
боржом ли пей, нарзан хлещи ли –
получишь выговор от Лили.

Критическою проткнут спицей,
я маюсь нынче поясницей.

Как на булавке некий жук,
в диване корчусь и визжу.

Я, как кустарь-единоличник,
леплю к горчичику горчичник

иль настоявши на клею,
простую водку просто пью.

И все ж от боли мне не спится –
торчит из поясницы спица!

Ну что ж, коль так – мне чёрт не брат –
прочь водку! Пью денатурат!

Я дамской критике не внемлю –
напитки крепкие приемлю!

* * *

Осенняя морская синь
и в небе, и в воде,
и солнце чистое висит
на золотом гвозде.
Встал город,
как большой орган
в готической кирке.
Он гимны западным ветрам
гудит один в тоске.
А я по берегу иду.
плывут цветы медуз,
и море
эти вот стихи
мне шепчет наизусть.

Содержание

От редакции	5
I. НА СЛОМЕ ВРЕМЁН	7
Последняя птица... ..	8
Лежу на вихре... ..	9
Обмылки, окуски... ..	10
КНЯЗЬ ТЬМЫ	12
СМЕРТЬ МАСТОДОНТА	14
Бреду в бреду... ..	15
В нашей проклятой Богом стране... ..	16
Не наследных наделов насельники... ..	17
СЫЧ	18
КРУШЕНИЕ	20
Кизи мертвы... ..	22
САМИ	24
Лист последний... ..	26
II. ГОДИЧНЫЕ КОЛЬЦА	27
Ледяная планета... ..	28
Если холод и хмурь... ..	29
СКИТ	30
Очень уж река синя... ..	31
О ГРОЗЕ	32
Пора к наплывам рек... ..	33
Беспомощные хрупкие деревья... ..	34
Найди мне что-нибудь другое... ..	36
Платформа. Ночь... ..	36
ПЯТЬ КАПЕЛЬ	37
Когда свалили порыжелые заборы... ..	38
ЧЬИ-ТО ШАГИ... ..	39
Как долго я не мог поверить... ..	39
В зелёных комнатах торжественного парка... ..	40

До четверга февраль продлится...	41
Снежинки перестали быть снежинками...	42
КОЛОКОЛ	43
Мелькнула жизнь в годах и днях...	44
КОЛОКОЛ СВЯТО-ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ	45
ТИШИНА	46
ТЬМА	46
КОГДА ВПРАВЕ...	47
ПЕРВОЦВЕТ	48
СЕВЕРНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	49
Старик. Измучен мукой мудрых...	50
Вечер с бреднем тумана бредёт...	51
Не лицемерит мерзлота ни в чём...	52
Был Урал...	54
СТРАСТИ СТРАНСТВИЙ	56
Разверзлись дали...	57
СИБИРЬ НЕ ПРИНИМАЕТ	58
МИР ОСЕННИЙ	60
Леса – пристанище деревьев...	62
СПОЛОХИ	63
Приишимье завернулось в индевелый лён берёз...	64
Снег, придавленный лыжей...	65
ТЕПЛОТА ВЧЕРАШНЯЯ	66
Жгут листья...	66
ОСЕННИЕ КАРУСЕЛИ	67
Море труженник вечный...	68
О маленькое чудо осени...	70
III. ЛИЧИНЫ И ЛИКИ	71
Лицо за решёткой тяжёлых морщин...	72
Мир старых фотографий молод...	73
УСПЕХ	74
СКРОМНИЦА	75

ЛИЦЕДЕЙ	76
ОЧЕВИДЦЫ ПОНАСЛЫШКЕ	77
Делёж наследства в доме престарелых... ..	78
Что нужно для рожденья красоты... ..	79
ИЗВЕСТНОСТЬ	80
Славьте мёртвых!	82
Запрятать рукопись!	83
ПОКОРИТЕЛЬ ЗЕМЛИ	84
КРАСАВИЦА	86
Лепит в лужи лотерейные билеты... ..	87
...И человек становится великим... ..	88
О балагуры... ..	89
Промозглым утром... ..	90
Все памятники... ..	92
Приходит к старости... ..	94
IV. ИЗ КАНЦЕЛЯРСКОЙ ЛИРИКИ	95
В бессмысленной настырной толчее... ..	96
Пусть значительностью полон... ..	97
Не жизнь, а жухлый том «записок»... ..	98
Учитесь у осенних мух... ..	99
ТРЕЗВЕННОСТЬ	100
У канцелярской скрепки... ..	101
Казённый небосвод казённых звёзд... ..	102
ПЕРВЫЙ СНЕГ	103
Мне предстоит встреча с чиновником... ..	104
ИЗ КАНЦЕЛЯРСКОЙ ЛИРИКИ	105
V. БАЗАРНЫЙ БЕС	107
ПТИЦА СКОПИДОМ	108
ЗЕЛЁНАЯ КОПЕЙКА	109
Боюсь владельцев дач... ..	110
БАЗАРНЫЙ БЕС	111
ДОБЫТЧИКИ ПИЩИ	112

ПОСЛЕДНИЙ МЕРИН	114
ЖЕСТЯНАЯ МЕЧТА	114
БАЗАР	115
СРЕДИ ВЕЩЕЙ	116
ЛЕСТНИЦА ПРЕСТИЖА	119
VI. РЕСТОРАННЫЙ МОТИВ	121
По-византийски украшен... ..	122
Эй, трубач... ..	123
Жалкая роскошь гостиниц... ..	125
По-свиному вина перепив... ..	126
Что думала пальма в углу ресторанного зала?.. ..	127
В НЕПОГОДЬ	127
ПРОПОЙЦЫ	130
VII. ШУТОВСКОЙ КОЛПАК	131
ШУТ	132
МЕЧТАТЕЛЬНОЕ	133
На совещании поэтов было парно... ..	134
МОНТАЖНОЕ	135
ЭПИГРАММКА	135
ФИЛОСОФСКОЕ РАЗДУМЬЕ НАД СОБОЙ	136
ПРОСТОЕ РАЗДУМЬЕ НАД СОБОЙ	137
РАЗМЫСЛИТЕЛЬНОЕ	137
ПОЭТИЦКО-ЭПИЦКОЕ	138
ЛИРИЦКОЕ	139
УРУГВАЙСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ	140
ХРЯК	141
В КУЛЬТНАРЯДЕ (<i>пародийное</i>)	143
1. РОЯЛЬ И ТАНК	143
2. РЯДОВОЙ МУЗЫКАНТ	143
3. РЯДОВОЙ КОМПОЗИТОР	144
4. КУЛЬТАРСЕНАЛ	145
ВЫКРУТАСЫ КАЧУЧА	146

ПОРЯДОК У ЩЕЙ	147
Купил мосье Моро с женой... ..	147
Подрядились свинопасы... ..	148
Вот Индейка. Вот Индей... ..	148
Меня никто не сможет сбить с катушек... ..	149
Дурак одурачен... ..	149
ОЧЕРЕДНОЙ МУДРЕЦ (<i>из недавней истории</i>)	150
СОБАКОВОДЫ	151
CHARMANT, CHARMANT... ..	152
VIII. ВЛЮБЛЁННОСТЬ	153
В этом городке... ..	154
Судеб скрещенья... ..	155
В нелёгкой жизни... ..	156
Без будущего встречи... ..	157
Сделаешь разбойничью причёску... ..	158
СЛЕДЫ	159
БАРЖА	160
УБИЕНИЕ	162
IX. ДЕЙСТВО ДЕТСТВА	163
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ	164
ПОГЛОЩЕНИЕ	166
ИСТЯЗАНИЕ	167
В МИРЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ	168
ОТКРОВЕНИЯ	170
ТЕАТРИК	172
Передвижение с детьми на поездах... ..	173
НАЧАЛА	175
X. ИСКУС ИСКУССТВА	177
ДРЕВЕСНЫЙ МОТИВ	178
АРТИСТ	179
БАЛАГАН ТЕЛЕВИДЕНИЯ	180
О ВЕЛИКИХ	182

ТЕАТР И ИСТОРИЯ	184
Убеждали творца...	185
КИНО И ИСТОРИЯ	186
О ВИНОДЕЛИИ	188
ЧИТАЯ...	189
СТИХИ О СТИХАХ	190
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА	191
ЗВЁЗДЫ	192
ИСКУССТВО	193
Всё больше красок впитывает взор...	194
XI. ВСЯ ЖИЗНЬ	195
Всё глубже погружаюсь в годы...	196
ВО ДНИ ПЕЧАЛИ	197
ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА	198
Тянусь я несмело...	200
Этот берег...	201
Когда душа переболеет...	202
Доверьтесь незнакомым...	202
Так смотрят на огонь и воду...	203
ЕГИПТЯНИН	204
Из пряжи времён и просторов...	205
Не жалею о сделанном...	206
В тягучей тине бытия...	207
ДЛЯ СОВЕТА С ДОЖДЁМ...	208
Восход, закат ли – равно медны...	209
ПОУЧЕНИЕ	210
За благо – всем благодаренье...	211
Вот череп. Сквозь него трава...	212
Почаще делайте, как хочется...	213
Жизнь пчёл...	213
ЗЛЫДНИ	214
ПРИТЧА О ПРАЗДНИКЕ	215

ЖИЗНЬ	216
НАДЕЖДА	217
ИНОГДА	218
Мир закоулков привокзальных... ..	219
ЗЛО	220
ТАЙНАЯ ПРУЖИНА	222
Большой нелепый город... ..	223
ЛИЦО НАШЕЙ ИНДУСТРИИ	224
ДАР ОГРАНИЧЕНИЯ	226
ШЕСТЬДЕСЯТ МИГОВ	227
ГОРЕ	228
Перехожена земля... ..	228
ВЫБОР	229
Засилье болтунов... ..	230
СРЕТЕНИЕ	231
КОЕ-ЧТО ОБ ИСТИНЕ	232
МЕРА СЧАСТЬЯ	233
КОРОБ	234
КРУГ СОБЫТИЙ	235
Когда поймётся: больше не могу... ..	236
ПРЕДЕЛ СУДЕБ (<i>сказ</i>)	237
ХII. ДОМАШНИЕ ДИФИРАМБЫ	251
ВЕЛИКИЙ ПРОФЕССОР (<i>песня</i>)	252
ЮБИЛЕЙНЫЙ САМОГОН	252
МОЙ НОВЫЙ ДОКТОР	253
ЛЕЙЛА	254
Осенняя морская синь... ..	255